

## НЕОКАНТИАНСТВО И МАРКСИЗМ

В. РОЖИЦЫН.

М. КЕЙНС.

А. СОЛОВЬЕВ.

Г. ЛЕВИТ.

ФЕЛИКС КОН.



В ПОКНИШЫ  
М. К. Е. Н. С.  
А. СОЛОНОВ  
Т. Г. В. И. Т.  
О. П. К. С. К. О. Н.



## НЕОКАНТИАНСТВО и МАРКСИЗМ.

В течение последнего пятидесятилетия капиталистического развития выражением основного противоречия классовой борьбы в сфере философского мышления было столкновение кантианского критического идеализма и марксистского диалектического материализма.

По замечательному определению К. Маркса, Кант дал философию Великой французской революции. В будущем марксизм будет рассматриваться, как историческая философия Октябрьской революции.

Подъем и упадок революции неизменно сопровождался в общественном сознании высокой оценкой материализма. Волна реакции снова сводила его, в буржуазных суждениях о нем, до уровня не-философского безнравственного и невежественного образа мыслей, отражаясь, вместе с тем, в кантианстве ослаблением критических моментов и переходом его в плоскость мистического и этического плюрализма, теории множественности метафизических сущностей нравственного сознания.

Опыты слияния теории Канта и Маркса в единой системе критического марксизма не противоречат этому движению, а поясняют его. Попытки преодоления диалектики и классовой теории, теоретического преодоления конфликта общественного способа производства и индивидуального присвоения хозяйственных благ всегда имели целью устранение революционного противоречия двух классов путем сведения в одну теорию их философий.

В своей современной форме неокантианство очень мало связано с философией самого Канта, во многом превратилось в его противоположность, соответственно тому, как по существу изменилась историческая роль буржуазии за сто лет.

Философия Канта в своей основе была этической теорией самодовлеющей, свободной, нормальной человеческой личности, разумом своим властвующей над вселенной и общественными отношениями. Социальный строй нормального общества принимался Кантом, как всемирное демократическое разумное нравственное и свободное сожительство автономных индивидуальностей. Условием действительного осуществления этого идеала, одновременно этического, философского и гражданского, было для Канта воплощение вечного абсолюта в истории человеческого процесса. Буржуазно-гражданское общество эпохи Канта верило не столько в свое собственное совершенство, сколько в цели совершенства мирового, которого ему суждено достигнуть при посредстве своих свободно поставленных, но осуществляемых в силу внутренней необходимости задач социально этической гармонии.

Абсолютное начало в философии Канта слагалось из четырех элементов. В основе лежало нравственное сознание, как целестремительное, телеологическое движение к идеалу вечного добра. Второй абсолют—художественное совершенство, как воплощение вечных образов красоты, внешних по отношению к человеку, созерцаемых и



присущих предмету созерцания. Третья абсолютная идея—чистой истины, достигаемой не столько исследованием природы, сколько сознанием внутренних законов чистого разума, объединяющего бессвязные данные опыта в систематическое познание.

Четвертый абсолют—религиозное сознание, имеющее своим объектом бога, причем руководящая роль сохранялась не за божественным, а за человеческим началом, суверенным над всем миром. Протестантизм Канта сделал понятие бога подчиненным понятию человека; человечество поставлено им в центре мировых и так называемых божественных отношений.

Влияние кантовской философии не ограничилось идеологией господствующего класса, и определило собою в значительной степени весь ход культурного развития в рамках буржуазного общества. Метод и классификация наук и самый способ обработки материала подчинялись указаниям и приказаниям философии Канта. Только в будущем, когда материализм окончательно овладеет всеми областями науки и вытеснит из нее критический идеализм, исследователи поймут, до какой степени они бессознательно были связаны предрассудками идеализма и как часто наблюдения над развитием этики, искусства, религии и философии, приводил к ложным выводам потому, что были связаны ложными кантовскими предпосылками о существовании в действительности или хотя бы во всеобщем сознании людей абсолютных или относительных понятий добра, красоты, истины и божества.

История религии излагалась совершенно неправильно, потому что вера в бога предполагалась там, где на самом деле имела место техническая медицинская магия. История искусства шла двойне ложным путем. Свободная и незаинтересованная деятельность, искание красоты, как воплощения идеи в образе, классификация искусств по скульптуре, архитектуре, театру, живописи, поэзии, означает, что „культур-философы“ возводили в универсальную норму общен исторических и всечеловеческих идеалов искусства временные классовые вкусы буржуазии эпохи Канта. История культуры подчинялась телеологии мещанского идеала. Происходило превращение классовых настроений в абсолютные принципы человечества.

Эта сторона кантианства подвергнута критике и разрушена во внутреннем развитии самого критического идеализма. Неокантианцы существенным образом видоизменили философию своего родоначальника, поставив на место объективных сущностей субъективные ценности духовной культуры. Для западно-европейского современного буржуазного интеллигента и даже интеллигента социал-демократического, философия ценностей полностью удовлетворяет потребностям мирозерцания и помогает нравственному оправданию исторического противоречия бедствий капитализма и идеалов социализма. Неокантианство сделало философию, в четырех плоскостях ее исследования, в этике, эстетике, гносеологии и религии, самостоятельной областью научного знания. Здесь есть свой метод, свой материал понятий и особая цель познания, цель идеального общественного строя в рамках духовной культуры.

Исключительность и высокомерная замкнутость философии культурных ценностей так велики, что она решительно отказывает марксистскому материализму в праве быть участником в разработке четырех проблем духовной культуры. Марксизм совершенно исключается из круга философской эволюции, потому что он теоретически враждебен духовным ценностям красоты, бога, абсолютной истины и блага. Буржуазно-протестантский характер неокантианства выразился в



том, что обобщающим идеалом его ценностей принято очеловеченное христианство. Христос превращен в историческую личность, его учение—в религиозную демократию, и общественные цели—в нравственный идеал социалистического общежития.

Высшая абсолютность христианства—любовь доведена неокантианцами до уровня всеобщего обязательного сознания, а после гражданской войны имеет в их умах значение диалектического антитезиса понятию классовой борьбы. В 1922 году каждый, кто говорит о любви и красоте, свидетельствует о себе, как о контрреволюционере.

Неправильно предположение, что не этика, а чистая теория знания лежит в основе философии Канта, и так же неправильно отрицание за его системой общественно-политического значения. Неокантианская политика, сейчас в особенности, дает теоретическое основание для борьбы с политикой марксизма, т. е. с коммунизмом. Все теоретические усилия мировой буржуазно-идеологической борьбы против большевизма в огромной литературе, выросшей за три года на всех языках, обоснованы неокантианством. Разница философских антикоммунистических направлений только в том, что одни из них сравнительно твердо отграничивают непознаваемое, а другие широко вливают в свое мышление разлагающие настроения скептицизма, вплоть до возрождения шопенгауэровского индуистского мистицизма. Мистическая неопределенность мышления с каждым годом вообще становится все более показательной для современной европейской мысли.

Главный смысл Кантовской философии, как это было настойчиво подчеркнуто представителями философского классового компромисса, так называемого критического марксизма, Максом Адлером и Форлендером, заключается в его построении гражданского идеала. Человеческая личность, как самоцель, абсолютное значение автономной нравственной личности и всего человечества, как центра, по отношению и которому служебную роль играют естественные силы природы и техника, всечеловеческий гражданский мир, в смысле пассивного антимилитаризма, демократия, как равенство абсолютных нравственных личностей, внутренняя духовная свобода, которая примиряет в себе противоречия исторического детерминизма, и внутренней ответственности, необходимой для сознательного осуществления целей человеческой истории, наконец, самая цель истории, именно идеал социализма, лежащая за пределами исторических возможностей и только регулирующая собой человеческую практику,—этот гражданский неокантианский идеал открывает возможность спорить с коммунизмом на предполагаемой общей с ним почве—свободе и демократии.

Макс Адлер думает, что даже исторический материализм первое свое обоснование нашел у Канта. „Многие из основных мыслей материалистического понимания истории были выражены Кантом с удивительной ясностью и полемическим остроумием“. Однако, достаточно прочесть изложенный Адлером исторический материализм, чтобы остаться спокойным за право Маркса считаться первым творцом этой теории.

„История—чисто человеческий процесс, обладающий строгой, хотя очень своеобразной закономерностью. Тенденции, направленные на поддержание существования, имеют решающее значение для ее выработки. Общественная закономерность совершенно непохожа на частные стремления отдельных людей. При всей взаимной неприми-



римости и вражде действий отдельных людей, непрерывно растет общественное начало человеческой жизни“.

На этом Кант с Марксом сходятся,—по крайней мере, по мнению Адлера,—но есть сделанные им к марксизму этические добавления, еще более отчетливо показывающие политический уклон кантианского марксизма. „В высшей степени характерно для подчеркнутой Кантом идеи нравственно самостоятельной личности сделанное им добавление к трем руководящим мыслям французской революции. Он их определяет так: свобода, равенство и самостоятельность, и именно в этом смысле социализм впервые дополнил формулу свободы требованием хозяйственной самостоятельности для нее, потому что только это требование дает возможность свободе осуществиться. Совершенно напрасно и несправедливо осуждали политические взгляды Канта за то, что он в теории государства различал граждан с полными и уменьшенными правами, причем лишил всех политических прав тех, кто состоит в услужении или живет заработной платой. Следовательно, весь пролетариат был им лишен прав“.

Неверно, как защищает Макс Адлер Канта от обвинения в реакционности; но существенно, что общественный идеал социализма мыслится кантианцами, как „свобода самостоятельных личностей“. Даже в революционной оболочке, даже в исторической перспективе 1793 года и якобинского террора, эти идеи демократии, свободы, равенства, самостоятельности и вечного мира остаются классово чуждыми марксистскому коммунизму.

Свобода неокантианская противоречит марксистскому представлению о свободе в такой же степени, как демократия либеральная исключает собой демократию индустриальную. Идеалистическое обоснование свободы и демократии открыло возможность всем представителям философской и политической контр-революции выступать против коммунизма под лозунгами свободной личности и свободной демократии. Очевидно, основное противоречие лежит не в этих понятиях. Смысл философской борьбы—сопротивление материализму. У нас нет никаких оснований отрекаться от материализма, как основной формы революционного мышления.

Производя аналогичную неокантианству попытку передвинуть марксизм на философско-идеалистический базис, эмпириомонист А. Богданов полагал, что в начале своего духовного развития пролетариат был связан пережитками буржуазного мышления, т. е. материализмом. Совершенно правильно, что материализм первоначально был буржуазной идеологией, как и кантианство, эмпириокритицизм, неокантианство и пессимистический мистицизм. Разница в том, что материализм был рожден потребностями революционной борьбы буржуазии против старых форм феодального производства и дворянской классовой власти. Неокантианство же и сопутствующие ему формы философского декаданса возникли из классовой борьбы, но против нового способа производства и соответствующих ему общественных форм, входящих в жизнь путем потрясающих мир революций.

Материализм всегда был философией революции. Марксизм представляет собой наиболее последовательную форму материализма теоретического. Марксизм, как государственная практика коммунизма,—доведенный до полноты сознательного применения материализм классово-политический.

Именно в плоскости спора о материализме нет никакого примирения между двумя мировоззрениями, оспаривающими друг у друга право на господство в современной культуре. На этой почве проис-



ходят попытки фальсификации марксизма, или его научного компрометирования. Свои руководящие редакционные статьи в *Neue Zeit* Генрих Кунов неизменно сопровождает заявлением, что неправы марксисты, отрицающие влияние идей на общественную жизнь.

Профессор Яковенко, напротив, считает большевизм самой чистой формой материалистического марксизма, и именно потому, что он не признает самостоятельной силы за идеями.

Пожалуй, верно будет сказать, что диалектика классовой борьбы заостряет мышление на противоположных понятиях. Чем дальше отходит буржуазное мышление назад по идеалистическому пути, тем настойчивей идет вперед пролетарское мышление по пути последовательного и систематического материализма, как мирозерпцания; диалектики, как метода; социализма, как науки; коммунизма, как практики классового строительства.

Наши враги раньше, чем мы, вступили на путь философской оценки мировой революции. Это объясняется тем, что они поневоле вышли из борьбы, или вернее, неокантианская с мистическим оттенком философия осталась в их руках почти единственным оружием борьбы. Тем не менее, материал опыта нескольких лет революции оказался единственным, но огромным по своей культурно-исторической значимости, предметом философского размышления.

Странно и близоруко было бы не заметить, что международная литература о мировом большевизме есть по существу литература о марксизме. „Идеи обладают способностью самостоятельного действия на вышней мир“, этот лозунг идеализма отразился в новой по существу оценке марксизма. Марксизм вышел из состояния замкнутой секты подпольных теоретиков и агитаторов. Марксизм оказался способным творить великие мировые события!

Первый поверхностный взгляд на большевизм, как на хаос и ужас, удовлетворял все потребности его понимания в 1919 году, но этого оказалось недостаточным в 1921 году. Разумеется, источников современного марксизма просвещенная буржуазия искала не в сочинениях Вольфганга Гейне или Носке. Они относятся к Марксу и Энгельсу приблизительно так же, как Клемансо к Робеспьеру. Материалом для изучения марксизма, как мирового культурного явления, как силы, „творящей перевороты“, стали искать в большевизме. Подлинный марксизм, это—большевизм. Философская сущность большевизма,—материалистическое отрицание философии в той ее современной форме, единственно способной к внутреннему развитию, в которой ее отрицал Энгельс. „Пролетариат будет преемником классической философии, сменив систему романтической теории системой революционного действия“.

Теперь материализм стал наследником философии, как диктатура пролетариата унаследовала старое государство. С этого момента начинается новый кризис марксизма: его неумержимое движение через умственную жизнь современности сквозь строй вражды, отрицания и скептического внимания.

В 1919 году проф. Новгородцев оценивал марксизм, как утопическую метафизику, разложившуюся в своем собственном внутреннем развитии. „У Маркса и особенно у его последователей получило преобладание чисто внешнее узко экономическое понимание социальной проблемы, принявшее при этом черты абсолютной утопической догмы. Экономический базис признан был источником и символом полноты жизни. Маркс создал утопию земного рая, подлежащую осуществлению при помощи классовой борьбы и социальной революции. Труд-



дающимся и обремененным возвещалась благая весть о скором конце их страданий, о грядущей светлой радости земли. В этих абсолютных обетованиях и революционных замыслах своих марксизм потерпел крушение. Как новое мирозерцание, как новое учение жизни, он умер, и должен был умереть“.

Через два года после этого погребения марксизма пришлось делать раз'яснения о том, что умер не марксизм, а германский неокантианский реформизм, который,—как это стало общепринятой точкой зрения в обзорах буржуазных газет,—не имеет ничего общего ни с коммунизмом Маркса, ни с коммунизмом большевиков. Через два года после Новгородцева В. Зомбарт вставляет в свой известный исторический обзор социализма вдвое больше о большевизме, чем было там сказано раньше обо всем марксизме, а проф. Яковенко ставит знак равенства между марксизмом, большевизмом и материализмом. Он сам—представитель неокантианства в фазе его мистического разрушения, контр-революционер, мыслящий абстракциями и этическими понятиями. Его понимание марксизма: впервые, из глубины российской революции, найдя для себя твердую точку опоры в диктатуре, возник настоящий марксизм, материалистический нигилизм, отрицание всех духовных ценностей, отрицание философии, этики и эстетики, презрение ко всем святыням, механическое понимание общественных отношений, „принципиальная беспринципность“, макиавелевски-искусное пользование политической диалектикой, иезуитизм цели, оправдывающей средства, и наоборот, варварский цинизм и этическая бесчеловечность, беспощадный в своей последовательности экономизм, атеистическая диктатура Великого Инквизитора, одним словом, полное воплощение эпикурейского материализма, в резкой и грубой форме отвергающего платоновский идеализм, в его современных кантианских формах. Правильно или нет понятый, но именно как беспощадно последовательный материализм, марксизм вновь стал страшен буржуазной Европе, как воинствующая сила революции.

Многое коренным образом изменилось в обстановке пролетарской революции и мышлении о революции, с тех пор как были написаны последние книги о смерти марксизма в кантианском реформизме. Все эпохи революционного подъема сопровождаются чрезвычайным усилением материализма.

В изложении неокантианцев, от Ланге или Форлендера, материализм суживался до метода или расширялся до метафизической абстракции. В действительности, он всегда был точным отражением человеческой практики в процессе производства. Практика капиталистической техники так же непрерывно рождала из себя научный материализм, как непрерывно философы стремились уничтожить его теоретические достижения религиозно-идеалистической реакцией.

Часто повторяется утверждение, будто материализм 18-го века относится к числу таких идейных предков марксизма, родства с которыми следует скорее стыдиться. Неверно! Материализм 18-го века был плох не своими „крайностями“, теми двумя недостатками, какие правильно и уже давно были отмечены Фридрихом Энгельсом. Ему не хватало метода развития, а именно не эволюционного, а революционного, и обоснования на естественных и технических науках.

Ко времени Маркса гегелевская диалектика и машинное производство, сопровождаемые мощной естественно-научной революцией, восполнили эти недостатки. Никто из нас не может считать себя теперь гегелианцем в таком смысле, как думал о себе Карл Маркс



или хотя бы русские марксисты четверть века тому назад. Частная гегелианская философская форма диалектики для нас не абсолют и не вечное воплощение истины, а только одна из исторических форм познания революционного развития природы и общества, идущего путем движущей силы противоречий. Не схоластика гегелевской триады, а действительно совершающийся в мире естественных и человеческих отношений процесс борьбы противоречий, рождающих из себя новые явления, устремляемые своими собственными противоположностями, в этом заключается значение для нас метода, который в его данной исторической форме был принят Марксом и Энгельсом и перенесен на почву естественно научного атеистического материализма их времени. Теперь мы являемся свидетелями очередного переворота в материальных науках, свидетелями нового углубленного диалектического противоречия между практикой капиталистической техники и теорией буржуазного мышления. Несмотря на огромные разрушения войны или, быть может, вследствие того, что эти разрушения были совершены научными техническими приемами на основе точных методов, материализм в науке неудержимо расширяет сферу своего господства. В отличие от эпохи Маркса и Энгельса, когда материализм развивался преимущественно в области изучения природы, сейчас материализм идет по линии изучения и объяснения человеческого общества и человеческой индивидуальности. В 18-м веке материализм в изучении так называемого психического мира едва мог подняться до уровня спора по методу аналогии. Скептик Давид Юм сталкивал между собою, в своих философских диалогах, два материализма, механический и органический. Для одних—человек машина, для других—человек растение. Медицинский материализм, современный Марксу, не мог дать ему ничего, кроме пошлого афоризма о том, что „мозг выделяет мысль,—как почки выделяют мочу“. Антропологический материализм Фейербаха был простой декларацией высшего нравственного значения материальной природы человека.

В соответствии с общим ничтожным уровнем науки о человеке, человеческом обществе и общественной культуре, Маркс не мог пойти дальше гениальной, математически точной и математически общей формулы о том, что бытие определяет собою сознание и что идеология есть надстройка над экономикой. Когда Маркс производил самостоятельные исследования, он разрывал узкие границы современной ему науки великолепными страницами материалистического анализа общественных явлений и политических теорий. Разработанного научного материала в его распоряжении не было. Антропология, не в кантовском, а в историко-культурном смысле этого слова, была в таком же зачаточном состоянии, как естественные науки в эпоху энциклопедистов. Изучение первобытной культуры только что началось, и Энгельс первый блестяще использовал результаты его поразительных открытий.

Изучение общественной психологии шло путем социологическим, а социология—в такой же мере классовая наука буржуазии о развитии и строении общества, как социализм—классовая наука пролетариата о производительных силах, о классовых противоречиях их развития и об их идеологической трансформации. Дарвинизм еще не поднялся над уровнем оптимистически-буржуазной теории прогресса своего основателя. Физиология человеческой личности, психоанализ, наука о нервах—еще почти не существовали. Биологические исследования в наивной форме позитивизма Спенсера могли стать прекрасной основой для субъективной социологии народничества именно в



силу ее мешански утопического характера. Можно сказать, что человек еще не был открыт наукой.

Огромный материал научных данных о развитии человека, как культурного существа, в зависимости от материальных условий его общественной жизни приведен в систему только очень недавно. Он весь был поглощен марксизмом, ни в чем не опровергая, неограниченно расширяя и углубляя его, вопреки упорной идеалистической реакции. И сейчас мы являемся свидетелями глубоко-противоречивого, и в своей противоречивости поучительного движения в науке.

Нет сомнений, что главный лихорадочно-живой интерес современных открытий проявляется в науке о жизни. Овладение органическими процессами, химия живых веществ, исследование бессознательной психической деятельности, объяснение умственных процессов и явлений сознания, как эпифеномена материи, лабораторные эксперименты над организмами, техника омоложения, препарирование живых тканей, исследование сложных психических явлений в процессе наблюдения над нервными тканями, истолкование культурных явлений, как приспособления человеческих групп к обстановке природы, к производственным отношениям и к отношениям классовым, социальная педагогика, как общественное искусство производства психических типов по заданию и плану,—все это перестраивает старую картину мира и наполняет содержанием алгебраическую формулу подчиненности сознания—бытию. Одновременно с этим и в полном противоречии с этим буржуазная наука тем быстрее уходит к вершинам идеализма, чем глубже ее же собственные ученые вскрывают материальные корни человеческого бытия.

Материализм раскрывает в процессе человеческой практики действительную картину мира. Идеализм отражает в себе систему фактов, а понятий. Основа неокантианства—в системе отвлеченных понятий этики и эстетики, религии и философии. В глубоком отличии от греческой мысли, совершенно не имевшей в своем распоряжении лексикона философских слов-понятий с метафорическим значением, превратившихся в самодовлеющие понятия, современная идеалистическая философия пользуется огромным количеством понятий, перенесенных с обозначения материальных явлений на идейные сущности, которым в действительности ничего не соответствует. Неокантианцы вполне правы, противопоставляя материализм философии и утверждая, что марксизм ничего не дал этике, эстетике и религии в их понятиях этих дисциплин.

Философия материализма так же мало похожа на философию идеализма, как слон или конь зоологический, на слона или коня шахматного, живущего, действующего и имеющего собственные законы только на шахматной доске.

Внутренние революционизирующие тенденции капиталистического способа производства в последние моменты его существования начали восстание против капиталистической формы производственных, общественных и культурных отношений, разрушая их. Военный кризис капитализма превращается в кризис классово-революционных „кризис общественных идеалов“ протекает по двум противоположным линиям. В высшей степени заостряется пролетарский материализм до крайности напрягается мистицизм европейской философии. Наука совершающая в области идеологических отношений такую же работу, как пролетариат в сфере отношений социальных, делает невозможными кантовские абсолютные идеи, но одновременно обесценивает неокантианские абсолютные ценности духовной культуры.



Три года со времени окончания мировой войны означали собой интенсивное перерождение неокантианства в скептический мистицизм. С такой же быстротой и лихорадочностью протекал очередной „кризис марксизма“, в смысле отслоения от него идеалистических „накожных болезней“, восстановления, нового развития, усиления и расширения материалистической основы. Неокантианство гаснет. Изящная, методологически стройная, последовательная, продуманная, идеально-скользящая по лезвию ножа между материализмом и спиритуализмом критическая философия Риккерта уступает место массивной, угрюмой, неуклюжей и бесформенной, как индийские божества, философии Освальда Шпенглера. Всякое бытие относительно и переходяще, всякое сознание подчинено бытию. Это выводы современного естествознания, но бытие у Шпенглера принимает характер первичной стихийной бессознательной воли всечеловеческого душевного бытия. Из него рождаются частные и относительные его воплощения,—души отдельных культур, и снова тонут, как сознание в стихии бессознательного, в океане первобытного духовного мрака дикарской человеческой природы.

Очередная культура, душа которой—душа Фауста, умирает, и нет такого мефистофеля Штейнаха, который бы ее омолодил. Фауст в культуре германского просвещения то же самое, что Кант в его философии. Фауст поэтический антипод кантианства. После Вико, Гердера, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше—Шпенглер последний философ исторического процесса буржуазной эпохи. Героизм миросозерцания Вико, романтический энтузиазм Гердера, систематика Гегеля, переходят в пессимизм Шопенгауэра, скептицизм Ницше, и обрываются последним созвучием отчаяния в философии Шпенглера. Фаустовская культура европейского буржуа обречена на смерть.

Иначе проходит путь развития классового антитеза в философии марксизма. За эти же три года марксизм вырос до размеров мирового культурного явления. Социальное движение, теорией и сознанием которого он является, оказалось способным к могущественным переворотам и, во всяком случае единственно способным к творчеству новых явлений культуры. Этого достаточно, чтобы на марксизме сосредоточить ненависть и внимание европейского общества. Марксизм развивался всегда в процессе критики, полемики, литературной и научной борьбы. Но никогда до сих пор он не находился в таком исключительном положении. Каждый очередной кризис марксизма был следствием изменения положения партии пролетариата в политической обстановке буржуазного общества. Первый кризис произошел полвека тому назад в момент крушения коммуны. Как ни тяжело было материальное поражение, но оно умственно возродило пролетариат. Все другие формы социалистического мышления, кроме марксистского, потонули в крови побежденной коммуны.

Только марксизм был в силах пережить катастрофу и именно после нее развиться в систематическое миросозерцание. Второй кризис марксизма, личным и случайным виновником которого был Бернштейн, еще недавно казался заключительным словом в полемике о марксизме.

Руководители левой стороны борьбы за ортодоксию Георгий Плеханов, Роза Люксембург и Карл Каутский странным, на внешний вид, образом оказались способными выдержать борьбу за марксизм только в первом фазисе, только в обороне против идеализма и реформизма, но переход к нападению задерживался ожиданием новых бойцов.



В эпоху организации сил пролетариата, в период подготовки к социальной революции они были стойкими марксистами. В период же наступившей социальной революции оказались превзойденной ступенью, и революционный марксизм переступил через них, как раньше преодолел в своем развитии побежденного ими Эдуарда Бернштейна и Конрада Шмидта, Петра Струве и Туган-Барановского.

Они верно защищали принципы диалектического материализма, материализма исторического, марксистскую критику буржуазной политической экономии, методы и основы классовой борьбы, как политической организации пролетариата для захвата власти и неизбежной, отдаленной не на века, а на десятилетия, социальной революцией. И все же, второй Интернационал, условия его развития, обстановка империалистического государства, непрерывно насаждали на марксизм идеологически чуждые посторонние элементы. Закономерная и естественная для неокантианского буржуазного мирозерцания связь системы духовных ценностей культуры и системы ценностей общественных, свободы, демократии, пацифизма, эволюционного движения к социализму, была, несомненно, правильно отмечена Эдуардом Бернштейном, как факт исторического бытия германской социал-демократии, к которому или должно приспособиться ее сознание или прервать традиционный путь, от революции придя к науке и от науки снова к революции.

Сознание части марксистов приспособилось путем неестественного сближения Маркса и Канта. Сознание ортодоксов II Интернационала вращалось в кругу декларативных фраз, под которыми скрывалась компромиссная политика.

Революция прервала путь традиции. Сознание марксизма вступило в противоречие с бытием старой социал-демократии. Чтобы устранить противоречие, значительная часть марксистов вообще отошла от марксизма. Для Генриха Кунова и Макса Адлера, Карл Маркс—только один из источников (и едва ли самый авторитетный) их социалистического сознания. Они с гордостью ведут путь своей национально-германской социалистической народной идеи от Канта и Фихте в такой же мере, как от Маркса и Энгельса.

Карл Каутский, Георгий Плеханов и Роза Люксембург не одинаково, не в равной степени, но подчинились могущественному влиянию ценностей духа и свободы, вошедших в марксизм от революционной романтической традиции. Победоносно отразив нападение Канта-философа, они не устояли перед пленительным соблазном Канта-политика-пацифиста, космополита, мечтателя о всеобщем гражданском мире, абсолютной личной свободе, защитника незыблемых гарантий гражданского равенства и теоретика идеалов культурного прогресса человечества. Если Макс Адлер имеет право утверждать, что многие мысли Канта звучат совсем по-марксистски, то причина этого только в том, что мысли многих марксистов (большей частью совершенно бессознательно) стали звучать кантиански. Во всяком случае, весь круг идей марксистов 2-го Интернационала, относящийся к понятиям демократии, духовной культуры и социального значения идеалов, пришел из источников критического идеализма.

Только сейчас мы отчетливо чувствуем, как свободно вздохнули, когда перестали считать Каутского единственно ответственным, авторитетным и непогрешимым толкователем и систематизатором марксизма. Это живо чувствуется в работе Бухарина о „Теории исторического материализма“, где освобождение от Каутского идет параллельно с восстановлением подлинного Маркса. Плеханов механически



соединил исключительно тонкое и ясное понимание теоретических основ марксизма с совершенно невозможной вульгаризацией, в идеалистическом духе, тактики классовой борьбы. Роза Люксембург меньше чем кто-бы то ни было, поддавалась влиянию пятидесятилетней традиции демократических предрассудков. Для нас не было тайной, что на конференции группы „Спартак“ перед роковым для нее восстанием, она выступила против большинства своей группы в защиту демократических иллюзий. В конце 18-го года, тем более в Германии трудно было мыслить иначе. Освобождение от многолетних идейных привязанностей совершается не в процессе размышления, а в процессе борьбы, и гораздо чаще революционный инстинкт массы быстрее нащупывает пути борьбы, чем сознание идеологов.

Возможное и оправдываемое четыре года назад превращается в бессмысленное упрямство или предательство марксизма сейчас.

Чем быстрее совершалось движение марксистской мысли, тем настойчивее проявлялось неокантианско-реформистское стремление сохранить старые понятия и идеи в состоянии абсолютной консервативной неподвижности. Сохранение иллюзий старого бытия—судьба тех, чье бытие давно стало иллюзией.

Опыт революции, проходившей везде и неизменно в идеологических формах марксизма, не означал собою революции в марксизме. Для ревизии, для пересмотра, для перестройки, для подведения новых фундаментов меньше оснований, чем когда бы то ни было раньше, при старых кризисах марксизма. Даже ревизионизм не произвел внутри себя никакой ревизии. Как будто ничего не изменилось, и вместе с тем изменилось очень многое. Теоретическое размышление довело до собственного сознания свои внутренние изменения только после того, как они уже совершились. Опыт эпохи империализма насаждал на марксизме реакционные налеты кантианской мысли. Опыт эпохи революции углубил влияние материализма, но не вернул его на уровень старой естественной науки, а использовал для него все данные современной нам революции в естествознании.

Мы сейчас стоим в начале периода развития последовательного материалистического, не кантианского, и не эмпирио-моистического марксизма. За последние десять лет нельзя отметить ни одного крупного исследования по философии марксизма, стоящего на точке зрения диалектического материализма. Все работы по философии и историческому материализму намечали новые точки зрения и разрабатывали новые материалы исключительно в плоскости какого-нибудь критического идеализма.

Конечно, невозможно представить себе, чтобы марксизм со времени последних философских работ Плеханова вообще прекратил свое развитие. Еще менее можно себе представить, чтобы марксизм совсем не нуждался в своем развитии. Следовательно, он переживал эпоху исключительно неблагоприятную для проявления своего материалистического содержания.

До 1914-го года шло нарастание явлений, подготовлявших собою международный кризис марксизма.

Критический марксизм был идейным предвестием кризиса, крайнего ослабления или даже катастрофы международного влияния социализма. Период до 1922 года означал собою накопление огромного опыта революции, идущей полностью в рамках исторического прогноза Маркса. Таким образом, этот опыт не разрушает марксизма, не дополняет его, а полностью вливается в него, поглощая собой и уничтожая теоретические примеси неокантианства и соответствующ-



щие ему политические компромиссы либерально-демократической тактики.

Марксизм стал мировым культурным явлением. Вследствие этого коренным и решительным образом изменилось его значение и объем его влияния. Он становится господствующей теорией в том смысле, что критическое внимание всех философских направлений сосредоточилось на нем. До сих пор опровержение марксизма было профессией узкого круга специалистов; остальная корпорация ученых оставалась в гордом и пренебрежительном неведении сущности марксизма. В академической науке он совершенно не имел права гражданства. Теперь положение изменилось. Революционный марксизм вошел в состав академической науки, по крайней мере, Восточной и Центральной Европы. Этого достаточно, чтобы ученые соприкасающихся с областью его интересов специальностей или подчинились марксистскому влиянию, или начали, как школьники, его изучение, или вступили в борьбу с ним. Борьба — движущая сила. В представлении европейской науки три понятия объединились в одно целое. Марксизм, материализм и русский большевизм. Таким образом, большевики стали естественными носителями марксизма, отвечающими за него полностью, а материализм получил смысл боевого лозунга, критерия различия революционного марксизма от его фальсификатов.

Новая обстановка теоретического развития марксизма создавал особый подход к нему. Он может быть уничтожен только вместе с революцией рабочего класса. Поэтому буржуазная наука перестала критиковать марксизм в направлении раскрытия в нем идейно-согласительских возможностей. Напротив, обнаружилась склонность отвергать марксизм в целом, как революционно-материалистическое явление классовой культуры пролетариата. Маркс опять становится непримиримым врагом буржуазной философии, вместо ее сомнительного друга, каким пытались сделать его неокантианцы. Тем прочнее становится его материалистическая основа, изъеденная за четверть века „грызущей критикой“ философского критицизма.

Нет оснований думать, что марксизм нуждается в новом методе науки, в новой философии и в новой социологии.

Вполне понятно было, что когда Богданов и Базаров отказались от диалектического метода, они должны были заменить его другим методом, другой организационной наукой, социализмом науки, тектологией. Диалектика остается для нас таким же научным методом, как и для Маркса. Только влиянием критического идеализма можно объяснить крайнюю неловкость, сбивчивость, спутанность и практическую неуклюжесть в его применении. 15 лет назад марксисты, в среднем уровне, были гораздо сильнее и искуснее в его применении, чем сейчас. Революционный метод не изжил себя, но необходимы были годы новой революции, чтобы он снова проложил себе путь в умы марксистов.

Революционные периоды как бы обнажают собою материальную основу диалектики, демонстрацией своей катастрофической логики, разрушают теорию неподвижности или медленно-постепенной эволюции событий. Эволюционизм — метод, враждебный революции, как факту и как мирозерцанию.

Вполне естественно совпадает, что одновременно с появлением первого наброска эволюционизма в главном труде Дарвина выходит книга Токвиля о революции и старом режиме во Франции, где доказывается положение о великой революции, как об осуществлении и доведении до конца задач старого режима, при чем революция была



только случайным моментом заключительного фазиса полицейско-централизаторских тенденций в эволюционном развитии старой Франции. Часто с большой наивностью отмечалось, что в том же году появления в свет книги Дарвина вышла из печати первая работа Маркса по политической экономии, где исторический материализм был впервые отчетливо формулирован. Дарвин в науках естественных, Токвиль в науке исторической, подводили итоги либерально-эволюционным воззрениям в тот момент, когда Маркс распахивал ворота, открывающие выход к началу пути революционно-диалектического мышления. До настоящего момента не появилось ни одной попытки рассматривать дело Октябрьской революции с либерально-политической точки зрения Алексиса Токвиля. Такие попытки будут. Ход развития реакционного мышления определяется не потребностями знания, а потребностями классовыми. Восстановление в полной мере материалистической диалектики заранее компрометирует научность этих попыток.

Еще более программным в философском смысле этого слова является отказ от принятия марксизма в его ревизионистском значении, т. е., как философии. Неокантианство в высшей степени философично. Богданов с такой же настойчивостью стремится вернуть марксизм в плен философии, с какой Энгельс стремился освободить его от пережитков философского романтизма. Марксизм имеет только то общее с философией, что он был ее отрицанием. Энгельс был вполне прав,—но его мысли не замечали, или отодвигали ее на второй план, когда он говорил, что после Фейербаха материалистическое мировоззрение „кладет конец философии в области истории точно так же, как диалектическое понимание природы делает излишней и невозможной всякую философию природы. В настоящее время, вообще, требуется не придумывать общие связи вещей, а открывать их в фактах действительности. Для философии, изгнанной из истории и естествознания, остается теперь только царство чистого мышления, ни сколько его еще осталось: учение о законах самого процесса мышления,—логика диалектической мысли“.

Таким образом марксизм изгоняет философию из тех пределов, где она до сих пор единственно только была возможна. Генрих Риккерт делит метод философского знания на две области его приложения. Он, как верный себе кантианец, заставляет разум создавать своим методом объекты познания. Исторически мыслящий разум создает систему понятий человеческого общества и культурных явлений. Натуралистически мыслящий разум строит систему природы в естественно-научных понятиях и законах. Диалектический материализм отражает природу не в процессе мышления, а в процессе производства. (Мимоходом нельзя не отметить, что Богданов примиряет философию с марксизмом в кантианском духе, заменяя производство вещей—производством логических понятий. Рабочий таким образом превращается в производителя призраков, и продуктом его труда оказывается призрачный коллективизм). Философия истории и социология отменяются историческим материализмом.

Соблазн буржуазной науки привлекает марксиста в данном случае к опасности мыслить исторический материализм, как социологию научного социализма. Это понятно, когда Генрих Кунов безбоязненно систематизирует марксистскую социологию. Гораздо менее понятно, когда по тому же самому пути идет тов. Бухарин. Можно ли мыслить марксизм, как социологию? Тов. Бухарин полагает, что необходимо...



Из утопического социализма возникли две ветви мышления: научный социализм и социология. Они удовлетворяли потребностям в изучении развития и строения общества двух основных враждебных классов этого общества, в 19-м веке. Социология — дитя буржуазно-позитивной мысли. Она не была до сих пор и не стала наукой, потому что не имеет двух необходимых признаков науки: единства материала и единства метода, но зато имеет несомненный признак псевдо-науки, — она родилась из потребности классового самооправдания буржуазии.

К чему бы пришли астрономы, если бы один клал в основу астрономической науки строение звезд, другой — математику их числовых отношений, третий — красоту звездного неба, а четвертый — магическое влияние созвездий на судьбу человека? А ведь именно таким путем шла и будет идти социология. Для одних предметом ее является общество, вообще, абсолютное, для других — социально-психическая жизнь, для третьих — бытовая жизнь людей, животных и насекомых. Одни пользуются методом так называемым номотетическим, другие — методом органических аналогий, третьи — методом статистическим.

Основные социологические системы были уже разработаны, когда Ф. Энгельс подводил итоги своим определениям научного социализма, но ему не приходила в голову печальная мысль — называть марксизм социологией, а не марксизмом.

Марксизм — не философия и не социология, хотя занимается философскими и социологическими исследованиями. Конечно, этот спор мог бы быть разрешен ссылкой на творческие волеизъявления Маркса и Энгельса, поскольку они противопоставляли научный социализм пролетариата буржуазной социологии и старой философии. Плеханов выяснил слабую сторону буржуазной социологии: не имея собственного метода, она пользовалась методом аналогий, была попеременно то „социальной физикой“, то „социальной биологией“, то „социальной психологией“. Социология имела смысл, поскольку ставила своей целью обнаружение законов, свойственных обществу, как общежитию индивидуальностей. Научная ценность марксизма — в доказательстве бесплодности искания особых законов, внутренне присущих человеческому общежитию. Марксизм перенес выяснение этих законов в другую область: общественные, т. е. классовые отношения создаются, в своих специфических особенностях, стихийными производственными отношениями между людьми. Эти отношения характеризуют общество не в „состоянии“, а в „динамике“. Динамическая социология полностью растворяется в истории. Статическая социология прочно связана с социальной метафизикой. Генеалогия социологии несомненна: от утописта Сен-Симона — Огюст Конт, от Конта по одной ветви — Рихард Авенариус и его незаконно-рожденное дитя А. Богданов, по другой ветви — Герберт Спенсер, К. Михайловский и „напоследок дней сих“ Питирим Сорокин.

Маркс создал не социологический материализм, а исторический. Исторический материализм применяется к истории, потому что революционная динамика диалектики исключает возможность хотя бы относительной неподвижности, исключает допустимость искания социологического абсолютно-сущего в непрерывном потоке исторических явлений. Для марксизма нет общества вообще с абсолютно-абстрактными законами; для него есть исторически данные общества — эпохи мирового капитализма, европейского феодализма, греческого рабовладельческого хозяйства. Гениальная способность Маркса к конкре-



тизации исключила возможность иного приложения исторического материализма, как только к истории. В противоположность систематизации понятий в социологии и философии, Маркс искал того, что было дано в конкретных фактах связи явлений истории, как науки, и природы, как материального процесса, при непереносимом условии понимания этих явлений в процессе человеческой производственной деятельности.

Тем самым исчерпывается проблема философии в системе марксизма.

Сила марксизма в том, что он не отклоняет от себя разрешения каких бы то ни было проблем, возникающих вообще в умственной деятельности людей, но ставит своей целью не спор о них в плоскости философской, этической, эстетической или религиозной истины, а объясняет материально-классовые причины общественной возможности этих проблем. Философская истина по самому существу своему чужда марксизму, который заинтересован в результатах не спекулятивного умозрения, а естествознания и техники производства.

Неокантианство, в противоположность этому, запрещает естествознанию разрешать проблемы бытия и познания. Естествознание нейтрально в философском смысле слова. Оно не доказывает и не опровергает материализма. Суждение о его познавательной ценности переносится в чуждую для него область философии, и там происходит то, о чем сказал Вл. Соловьев, как о философской смерти материализма: „Кантианский идеализм достаточен для окончательной философской критики материализма, потому что материализм, как философия перестает быть возможным убеждением для ума, поднявшегося до тех мысленных запросов и задач, которые с особой силой и ясностью выдвинуты именно критической философией Канта. Его критицизм есть тот мост, через который должны проходить все философские учения, но на котором некоторые из них проваливаются. К последним принадлежит и материализм. Это делается само собой, без полемики“.

Естествознание, стоящее на почве нейтрального в философском смысле материализма, естествознание „беспартийное“, теперь не существует. Оно полностью исчерпывает все вопросы, раньше относившиеся к ведомству философии. Отказ марксизма от философии означает завоевание им права высшего суждения над системами и проблемами философии, как над отражением в метафизической оболочке мирозерцания классов, не связанных с производством. Напротив, диалектический материализм впервые делает возможной ликвидацию мировых загадок бытия и познания отказом от их абсолютного философского разрешения и переходом к раскрытию объективных истин действительности, познаваемой естественно-научно и методологически проверяемой материалистической диалектикой.

По своему содержанию, марксизм есть последовательный материализм, руководимый диалектическим методом. Восстановление в настоящее время последовательного материализма на основе данных современной науки, обещает огромные новые завоевания для марксизма. Гораздо труднее освободить материализм от критической философии в рамках исторически данного сейчас марксизма, если согласиться называть этим именем все направления, которые себе присваивают его. Чтобы понять это, достаточно оценить объем неокантианского движения буржуазной мысли, которая с оружием идеалистического псевдо-марксизма борется против материалистического марксизма коммунистической партии.



Начало этой борьбе было положено в 1894 году, когда одновременно с Петром Струве в России, Рудольф Штаммлер, ученик первых неокантианцев Фридриха Альберта Ланге и Генриха Когена, начал критическую переработку марксистского понимания истории.

В 1899 г. Франц Штаудингер, сейчас „официальный“ философ на страницах „*Neue Zeit*“ „официального“ органа германской „официальной“ социал-демократии, издал свою работу „Этика и политика“, где кантовская научная этика вытесняла собой научный марксизм. В 1900 году Карл Форлендер напечатал работу „Кант и социализм“. В том же году Вольтман выпускает книгу „Об историческом материализме“, где Маркс дополняется вдвойне: Кантом и Дарвином. После этого Эдуард Бернштейн оказывается только случайным выразителем помимо него сложившегося движения, когда 17 мая 1901 г. он читает доклад в Берлинском социально-научном студенческом обществе на тему: „Как возможен научный социализм?“ и заканчивает его лозунгом: „Назад к Канту!“.

Впрочем, Бернштейн, который в представлении русских марксистов, так и остался идейным вождем марксистов-неокантианцев, был именно неокантианцами отвергнут. Форлендер пренебрежительно отзывается о нем: „Бернштейн проявил себя в высшей степени непоследовательным кантианцем и просто использовал подчеркивание теоретико-познавательного и этического момента в обосновании социализма для целей реформизма“.

В Баварии на защиту неокантианства выступил погибший во время революции Курт Эйсер. Макс Адлер в Австрии до 1914 года издал три книги: „Маркс, как мыслитель“, „Марксистские проблемы“ и „Очерк духовной истории социализма“. В этом направлении он работал вместе со своим другом Отто Бауэром. Странно отметить, что Конрад Шмидт, теоретически злой гений и соблазнитель почти всех германских, русских и австрийских неокантианцев-марксистов, все время оставался в тени, и только Плеханов был достаточно дальновзорок, чтобы подвергнуть его „критической критике“, как самого злостного врага материализма.

1914 годом развитие теоретической мысли в международном марксизме внезапно насильственно обрывается, и также внезапно возобновляется в 1920 г. Наторп, один из самых крупных и несомненно буржуазных психологов-педагогов-философов Германии, издал в этом году чрезвычайно значительную книгу „Социал-идеализм“. В ней он дает кантианское обоснование системе этического социализма, вместе с тем принимая критически проверенного идеализмом Маркса. Форлендер издает несколько работ о Канте, Фихте, Гегеле, Марксе, Энгельсе и Лассале, как о развивающихся в одной и той же последовательности мысли философах-социалистах. Из буржуазных философов к кантианскому марксизму присоединяется Фердинанд Тённис и, наконец, летом 1920 г. центральный комитет германской социал-демократии (правой) обращается к Карлу Форлендеру, идейному вождю крайнего правого направления в неокантианском критическом марксизме, с предложением написать для партии программное официальное руководство под заглавием „Философские основы социализма“.

Генрих Кунов оказывается слишком левым, потому что он непоследователен в своем критическом уходе от Маркса. Отойдя от него политически, он остался ему верен, как материалист. Ренегатство требует последовательности. Невозможно изменить Марксу, не отказавшись от самой сущности марксистского мирозерцания, от материализма.



Так победило в Германии неокантианство, но и в нем ренегатство не в силах было поспеть за стихийным разложением буржуазной мысли. В тот момент, когда германская социал-демократия политически выровнялась по линии буржуазного демократизма, а философски—по линии кантианского критического идеализма, буржуазное кантианство стало разлагаться в анархии государственного цезаризма и философского мистицизма. В этом же 1920 г. взорвалась и сорвалась авантюра Каппа, а на философском небе Германии загорелась прощальная мрачная звезда этического отчаяния и культурного пессимизма, траурная звезда Освальда Шпенглера.

**Валентин Рожицын.**



## ЛЮДИ, ПОБЕДИВШИЕ ГЕРМАНИЮ.

Из книги М. Кейнса: „Экономические последствия мира“.

Легче понять истинное происхождение значительной части пунктов договора с Германией, если мы познакомимся с некоторыми личными факторами, руководившими его редакцией. Предварительно необходимо коснуться некоторых причинных взаимоотношений, относительно которых наблюдатели склонны заблуждаться, и по поводу которых они не могут составить себе самостоятельно определенного суждения. Если мы, как бы узурпируем у историков их привилегии—что, несмотря на значительно большее знакомство наше с рассматриваемым предметом, мы делаем неохотно по отношению к своим современникам,—то да сообразоволят читатель извинить нас. Пусть вспомнит он, что если мир хочет понять свою судьбу, то он должен прежде всего обрести хотя бы и неполную и не лишенную сомнений, ясность насчет сложной борьбы между волей человечества и обусловленностью его действий, борьбы, в которой четыре личности играли в первые месяцы 1919 г. как бы роль оси судеб всего мира.

В интересующих нас пунктах договора, стороной руководившей дебатами, были французы. Они, главным образом, выступали при всяком удобном случае с наиболее точно сформулированными и самыми крайними предложениями. Это был тактический прием. Когда конечным итогом должен явиться компромисс, то осторожность часто велит исходить из крайнего положения. С самого же начала французы,—подобно большинству наблюдателей,—предвидели двойной ряд компромиссов, которые должны были объединить их прежде всего с их союзниками и друзьями, а затем, на самой уже конференции с немцами. Клемансо стяжал себе репутацию умеренного по сравнению со своими коллегами по Совету за то, что, подчас, он, с видом гуманного беспристрастия, выбрасывал за борт наиболее крайние предложения своих министров. Многие решения проходили, когда английские и американские критики не вполне точно уясняли себе содержание спорного пункта, или же, когда они замечали, что постоянные хулы союзников по адресу Франции ставят их в положение,—одиозность которого они чувствовали—словно они становятся на сторону врага. Вот почему критика англичан и американцев чувствовалась слабо и в тех пунктах, которые не касались существенно их интересов. Так было принято большинство решений, которые не оценивались серьезно самими французами.

Но помимо этой тактики, французы вели свою политику. Клемансо мог в нескольких словах отбросить требование какого-нибудь Клоца или Лусера, или закрыть с усталым видом глаза, когда предмет спора не являлся более интересом Франции; он знал все существенные пункты и в этих пределах не склонен был к уступкам. Поскольку главные экономические тенденции договора соответствуют



какой-нибудь продуманной идее, то ею является идея Франции и Клемансо.

Клемансо был самым видным членом Совета Четырех, а состав его коллег был достаточно подобран. Один лишь он умел одновременно иметь план, продуманный во всех последствиях. Его возраст, характер, ум и вся наружность делали из него в своем сочетании рельефную фигуру с отточенными контурами на спутанном фоне. Нельзя было ни презирать, ни не любить его. Можно было разве лишь иметь отличное от него мнение насчет природы цивилизованного человека или по крайней мере, возлагать на него другие надежды.

Внешность и стиль Клемансо общеизвестны. На заседаниях Совета Четырех, он носил сюртук из очень хорошей черной материи, а руки его были всегда обтянуты серыми шведскими перчатками. Его весьма прочная, крестьянской формы, обувь из крепкой черной кожи застегивалась иногда спереди пряжкой, вместо шнурков. В покое дома президента, где происходили регулярные заседания Совета Четырех, (частные совещания устраивались в меньшей комнате внизу), — он восседал в четырехугольном парчевом кресле, в середине полукруга против камина. По левую руку от него помещался Орландо, а справа — премьер-президент, сидевший с боку у камина. Он не приносил с собой ни бумаг, ни портфеля, и в тоже время не прибегал к услугам какого-нибудь специального секретаря, несмотря на то, что был окружен многочисленными министрами и чиновниками, компетентными в предмете спора. Походка, голос и руки Клемансо не лишены были силы, но, все таки, в особенности после произведенного на него покушения, он имел вид очень старого человека, берегущего свои силы для какого-нибудь важного случая. Он говорил редко, представляя своим министрам и чиновникам излагать точку зрения Франции, а сам с закрытыми, часто, глазами с бесстрастным, как папирус, лицом, со скрещенными на груди руками, в серых перчатках, ограничивался обычно какой-нибудь краткой, решающей или циничной фразой, или же вопросом, покидая без стеснений своих министров, часто без соблюдения внешнего декорума, или выказывая вдруг упорство, подкрепляемое несколькими с живостью произносимыми английскими фразами. \*) Но в случае нужды у него не было недостатка и в красноречии и горячности. Неожиданный поток слов, часто сопровождаемый глубоким грудным кашлем, производил больше впечатления своей силой и неожиданностью, чем убедительностью.

Нередко во время перевода на французский язык произнесенной им по-английски речи, г. Ллойд-Джордж подходил к президенту, чтобы в частном разговоре, каким-нибудь аргументом *ad hominem* поправить положение или нацунуть почву для компромисса. Это служило иногда поводом к всеобщему движению и беспорядку. Советники президента торопливо окружали его, через момент английские эксперты проходили через комнату, чтобы осведомиться о результате и узнать, все ли обстоит благополучно, а вслед затем подходили французы, несколько опасавшиеся, не затевают ли другие чего-либо за их спиной. В результате, все заседание было на ногах, и всюду шел разговор на двух языках. Мое последнее и наиболее живое воспоминание рисует мне такую сцену: президент и первый министр в центре волнующейся толпы и Вавилона звуков, целого моря бурных

\*) Один из всех четырех говорил на обоих языках. Орландо знал лишь французский; Вильсон и Ллойд-Джордж — лишь английский. Это важный исторический факт, что президент и Орландо не общались непосредственно друг с другом.



и импровизированных компромиссов и контр-компромиссов, шума и ожесточенного, совершенно беспредметного, касающегося, в лучшем случае нереального вопроса, спора: великие результаты утреннего заседания забыты и заброшены. А Клемансо держится молчаливо в стороне, ибо все это не имеет отношения к судьбам Франции. В своих серых перчатках восседает он на своем троне, с душой иссушенной, без надежд, очень старый и очень усталый, но созерцающий все это зрелище с циническим и почти презрительным выражением. Когда, наконец, спскойствие восстанавливается, и все занимают свои места, то оказывается, что он исчез.

Клемансо думал о Франции то же, что Перикл об Афинах: все значение только в ней, ничто другое не важно,—но его политическая теория была та же, что Бисмарка. У него было одно очарование—Франция; и одно разочарование—человечество, начиная с французов и его коллег. В том, что касается мира, его принципы были просты: психология немца такова: немец не понимает и не может понять ничего кроме устрашения. В переговорах—он лишен великодушия и всякой брезгливости, и нет такой выгоды, которой он не захотел бы выжать из вас, нет актов, до которых он не унизился бы в интересах своей прибыли; он лишен чести, гордости, жалости. Вот почему, вы не должны никогда договариваться с немцем, или входить с ним в соглашение, а лишь навязывать ему свои решения. Только при этих условиях он будет считаться с вами, и вы помешаете ему обмануть вас. Впрочем, нельзя знать, в какой степени распространял он эту характеристику на одну лишь Германию и имел ли он существенно отличное суждение о других нациях. Само собой понятно, что его философия не оставляла никакого места „чувству“ в области международных отношений. Отношение к нациям таково: все любите одну из них, к другим же чувствуете лишь равнодушие или ненависть. Слава любимой вами нации является желанным достижением,—но вы можете в общем обрести ее лишь за счет вашего соседа. Политика силы неизбежна, и эта война или результаты, за которые бились, не показала ничего особенно нового. Англия, подобно тому как она сделала это и в прошлые столетия, уничтожила торгового соперника, закрыла страницы вековой борьбы между французской и германской славой. Лишь из осторожности говорилось немного об „идеалах“—бессмысленных у американцев и лицемерных у англичан, но было бы глупо думать, что в том мире, в котором мы живем, много места для таких затей как Лига наций или принцип свободного самоопределения. Это просто хитроумные выдумки, служащие лишь для использования ситуации в собственных интересах.

Но все это лишь общие замечания для того, чтобы описать практические подробности мирного договора, находящегося, по мнению Клемансо, в согласии с могуществом и безопасностью Франции. Необходимо вернуться назад и рассмотреть некоторые исторические причины происходящих сейчас событий.

До войны 1870 г. население Франции и Германии было численно приблизительно равно, но Франция была гораздо богаче Германии, угольные, металлургические и морские предприятия которой только лишь зарождались. Даже после потери Эльзас-Лотарингии ресурсы обеих стран не были значительно различны. Но в следующий период соответствующие позиции радикально изменились. Около 1914 г. население Франции было превзойдено приблизительно на 70% населением Германии, ставшей одной из первых торговых и промышленных наций, и не имевшей по своей технической умелости и способности



производить технические богатства, равной себе в мире. С другой стороны, население Франции не возрастало, и даже уменьшалось. Ее богатство и производственная мощь довольно далеко отставали от других стран.

Из настоящей борьбы, и на этот раз с помощью Англии и Америки, Франция вышла победоносной. Несмотря на это, ее грядущие судьбы оставались неопределенными в глазах человека, считавшего, что гражданская война в Европе станет в будущем наверно или, во всяком случае, вероятно нормальным явлением, и что заполнившие последнее столетие конфликты между великими организованными державами будут регулярно происходить и в будущем. Согласно таким взглядам, история Европы должна являть собою беспрестанную борьбу. Франция выиграла данную схватку, но она наверно не последняя.

Из этой то идеи,—что старый порядок вещей не меняется, ибо он основан на человеческой природе, вечно постоянной, из этого недостатка доверия к идеям, создавшим Лигу Наций, и исходила политика Франции и Клемансо. Великодушный, справедливый мир основанный на „утопии“ четырнадцати пунктов президента мог бы лишь сократить период выздоровления Германии и ускорить наступление того дня, когда она смогла бы пустить опять в ход против Франции свои более многочисленные массы, свои более высокие ресурсы и свои технические способности. Отсюда—необходимость „гарантий“. Но всякая гарантия, усиливая до крайности раздражение, и тем самым, возможности германского реванша, делает необходимым еще другие уничтожающие постановления. Отсюда следует, что, если принять эту доктрину, отбрасывая прочие, то необходимостью является карфагенский мир, поскольку какая-нибудь эфемерная держава может навязать его. Ибо Клемансо не делал вида, что считает себя связанным четырнадцатью пунктами и предоставлял преимущественно другим заботу изготовления дипломатических микстур, нужных для смягчения внешней формы.

Политика Франции состояла в том, чтобы насколько возможно сильнее повернуть обратно колесо истории и расстроить все, что после 1870 г. совершила эволюция Германии; благодаря потере территории и другим мерам, население ее должно было быть уменьшено, но в особенности должна была быть уничтожена экономическая система, от которой зависела ее новая мощь, эта фабрика—гигант, основанная на железе и угле. Ее транспорт должен был быть разрушен. Если бы Франция смогла, хотя бы только и частично, завладеть тем, что Германия была вынуждена оставить, то неравенство двух соперников, жаждавших гегемонии в Европе, было бы компенсировано на много поколений.

Из этой то доктрины родились те многообразные решения, рассмотрением которых мы займемся в следующей главе, решения, заключающиеся к уничтожению могущественной организации экономической жизни Германии.

Такова политика старца, самые яркие впечатления и мысли которого принадлежат к прошлому, а не будущему. Он исходит из отношений между Францией и Германией, а не из интересов человечества, европейской цивилизации, борющихся за установление нового порядка вещей. Война преломилась в его совести иначе, чем в нашей. Он не знает, что мы находимся на пороге новой эпохи, наступление которой ему нежелательно.



Но во всяком случае спорный пункт—это не только вопрос о принципах. Нашей целью в этой книге является показать, что Карфагенский мир не является ни справедливым, ни возможным *на практике*. Хотя интеллектуальная школа, являющаяся его источником, и в курсе экономических проблем, тем не менее, она закрывает глаза на экономические тенденции будущего. История не может идти вспять. Мы не можем вернуть Центральную Европу на уровень 1870 г., не вызвав такого напряжения в европейском обществе и не дав простора таким физическим и духовным силам человечества, которые, разметав расовые и государственные границы, унесут в своем потоке не только нас и наши „гарантии“, но и все наши учреждения и установленные порядки нашего общества.

Путем какого же фокуса эта политика была обоснована четырнадцатью пунктами, и каким образом помирился с нею президент? Трудно ответить на эти вопросы, ответ на которые можно лишь дать изучив факторы характера и ума и глубоких влияний среды. Но если поведение индивидуума имеет какой-нибудь удельный вес, то банкротство президента является одним из наиболее важных событий истории в смысле его морального значения, и я постараюсь это показать. Какое место занимал президент в наших сердцах и какие надежды возбуждал он во всем мире, когда явился к нам на своем Georges-Washington'e! Какой великий человек приехал в Европу в те следовавшие за победой дни!

В ноябре 1918 г. армии Фоша и слова Вильсона позволили нам сразу выбыть из войны, поглощавшей все наши силы. Обстоятельства сложились гораздо благоприятнее, чем можно было бы желать. Победа была так полна, что страх не мог оказывать никакого влияния на наши решения. Сложивший оружие враг питал доверие к общему характеру мира, пункты которого, казалось, обеспечивали справедливое и великодушное разрешение тяжбы и как будто давали основание надеяться, что жизнь опять наладится. И вот, для подкрепления этой уверенности и завершения своей миссии явился сам президент.

Когда президент Вильсон покинул Вашингтон, он пользовался во всем мире прямо небывалым в истории престижем и моральным авторитетом. Его смелые и умеренные слова звучали для народов Европы выше и шире, чем голоса их собственных политиков. Враждующие нации верили, что заключенный с ними президентом договор будет им выполнен. Союзные народы видели в нем не только победителя, но почти пророка. Но кроме этой моральной мощи, он обладал и реальным могуществом. Никогда еще американские армии не были более многочисленны, более воодушевлены, лучше снаряжены. Европа зависела в смысле пропитания целиком от Соединенных Штатов, а в финансовом отношении она находилась от них в еще более абсолютной зависимости. Мало того, что Европа задолжала Америке больше, чем она была в состоянии заплатить: только щедрая помощь Соединенных Штатов могла спасти ее от голода и банкротства. Никогда еще ни один философ не обладал таким сильным оружием против сильных мира сего. Какие толпы спешили за каретой президента во всех столицах Европы! С каким любопытством, тревогой и надеждой стремились мы запечатлеть лицо и фигуру этого ниспосланного судьбой человека, прибывающего с Запада для того, чтобы залечить раны старой матери цивилизации и заложить фундамент будущего!

Разочарование было так велико, что те, которые больше всего верили, не решались произнести слова. Правда ли это?—спрашивали



они тех, кто возвращался из Парижа. Был ли договор в самом деле так дурен, каким казался? что случилось с президентом? какая слабость или какое злосчастье породили такую невероятную и неожиданную измену?

Между тем причины этого разочарования были совсем обыкновенны и коренились в человеческой натуре. Президент не был ни героем, ни пророком. Он не был даже философом. Это был человек с великодушными намерениями, но не лишенный слабостей других человеческих созданий. Ему не доставало той властной интеллектуальной подготовки, которая была ему нужна для борьбы с тонкими и опасными чародеями, вынесенными громадным сдвигом стихийных сил и человеческих действий на вершину исторической волны. Встретившись с ними лицом к лицу в совете в состязании, из которого они вышли победителями в быстрой игре, он обнаружил свою неопытность.

Мы составили себе ложное представление о президенте: мы знали его одиноким и далеким от нас и верили в его силу воли и упорство. Мы отнюдь не считали его педантичным, но предполагали, что та точность, с которой он относился к определенным принципам, даст ему возможность при помощи его смелости смести всю паутину с пути своего. Кроме этих качеств, он должен был обладать ясностью кругозора, высоким культурным уровнем и обширными знаниями мыслителя. Весьма выдающийся язык, такой характерный для его прославленных нот, мог, казалось, принадлежать лишь человеку с возвышенной и мощной фантазией. То, что рассказывали о нем, рисовало его, как человека с элегантною внешностью и властным красноречием. Кроме того, он достиг и продолжал сохранять при все возрастающем авторитете самое высокое положение в стране, где таланты политиков находят должную оценку. Все эти обстоятельства, казалось, сочетались в одно, чтобы создать представление, что именно этому человеку суждено сыграть особую роль в событиях.

Первое впечатление, произведенное вблизи Г. Вильсоном, ослабило некоторые из этих иллюзий, но не все. Его физиономия и фигура были элегантны и соответствовали во всех подробностях фотографическим снимкам с него; его манера держать голову была аристократична. Но, подобно Улиссу, он импонировал больше, когда сидел. Его рукам, правда ловким и довольно сильным, не доставало тонкости. Достаточно было один раз видеть президента, чтобы получить впечатление, что он не только не обладал темпераментом человека науки, но что у него было даже того знания света, которое делает из Г. Клемансо и Г. Бальфура личности изысканной культурности. Он не только был невосприимчив к чисто внешним явлениям, но, что еще важнее, не поддавался ни в малейшей степени влиянию окружающей среды. Какие шансы мог иметь такой человек перед лицом Г. Ллойда-Джорджа, чуткая внимательность которого распространялась непосредственно, безошибочно и почти с магнетической силой на всех, кто окружал его?

Достаточно было видеть, как английский премьер рассматривал окружающих при помощи своих недоступных обыкновенным людям шести или семи чувств; как он оценивал характеры, мотивы и подсознательные чувства, как он быстро схватывал то, что каждый думал и даже то, что собирался сказать другой; как он по какому-то телепатическому инстинкту выбирал способы доказательства или защиты применительно к гордости, слабости или эгоизму собеседника; достаточно было заметить все это, чтобы понять, что бедный прези-



дент был вынужден в этом обществе играть роль человека с завязанными глазами.

Более подходящей и как бы небом ниспосланной жертвы для изощренных качеств первого министра нельзя было бы и придумать. Как бы то ни было, но старый мир судорожно держался за свою развращенность, и каменное сердце его могло бы притупить и самую острую саблю самого храброго блуждающего рыцаря. А наш слепой и глухой Дон-Кихот сам шел в пещеру, где в руках противника сверкал быстрый и блестящий клинок.

Но если президент не был великим философом, что же представлял он собою?

Это был, в общем итоге, человек, прошедший большую часть своей жизни в университете, сильная личность с могущественным личным влиянием. Какой же у него был темперамент?

Президент был похож на министра-проповедника и даже пресвитерианца. Его мысль и характер носили скорее богословский, чем философский оттенок, совмещая всю силу и всю слабость, свойственные этому роду идей и чувств. Тип этот, не имеющий в настоящее время в Англии или Шотландии стольких представителей, как раньше, даст все же англичанину наиболее точное представление о президенте.

Удерживая в своей памяти этот портрет, мы можем вернуться к самим событиям.

Выдвинутая президентом в его речах и нотах программа свидетельствовала о такой возвышенности ума и целей, что тем, кто одобрял ее, не приходило в голову обсуждать ее детали, еще не урегулированные, думали они, но подлежащие урегулированию в нужное время.

В начале парижской конференции, в общем, предполагалось, что президент, с помощью многочисленных своих советников, набросал широкий план, не только для Лиги Наций, но и на предмет проведения в жизнь четырнадцати пунктов, в целях выработки поистине мирного договора. Но в действительности, президент не наметил ничего. Когда очередь наступила за практическим выполнением, то его идеи оказались неопределенными и несовершенными. У него не было ни плана, ни проекта, ни конструктивных идей, чтобы вдохнуть жизнь в свои заповеди, гордо возведенные им из стен „Белого дома“. Он мог бы произнести обет по поводу всех своих принципов, или обратиться с величавой молитвой к Всемогущему об исполнении их. Но он не сумел конкретно применить их к действительному состоянию Европы.

Он не только не мог сделать ни одного детального предложения, но во многих отношениях—и это было без сомнения неизбежно—был плохо осведомлен о положении Европы,—но он не только был плохо осведомлен—это относилось также и к г. Ллойд-Джорджу,—но его ум был слишком медлителен, чтобы приспособиться к обстоятельствам. Медлительность президента по сравнению с европейцами заслуживает быть отмеченной. Он не мог сразу понять то, что говорили другие, смерить одним взглядом положение вещей, выковать реплику, предупредить трудность незаметным изменением своей позиции. Его должна была поэтому побеждать живость, быстрая ориентировка, ловкость такого человека, как Ллойд-Джордж. Из игравших руководящую роль государственных мужей, без сомнения, лишь немногие были неспособнее президента к гибкости в споре: часто бывает, что вы можете одержать важную победу, если выкажете готовность на легкое подобие уступки, или если вы согласитесь с оппозицией путем ка-



кого-нибудь иного, более приятного противнику, изложения вашего предложения; эта уступчивость не должна ни в чем ослабить того решения, в котором вы заинтересованы. Президент же не был вооружен для этих простых и общеупотребительных приемов. Его слишком медленному уму недоставало средств, чтобы быть готовым к какой-нибудь альтернативе. Он мог лишь упереться ногами в землю и не двинуться с места, как он это сделал по поводу Фиуме. Но у него не было другого средства защиты. Его оппоненты не нуждались в большой искусности, чтобы не дать делу зайти слишком далеко. Любезностями и кажущимися уступками они сбивали президента с позиции, не давали ему времени упереться ногами в землю, и он не успевал опомниться, как было уже слишком поздно. Кроме того, невозможно все время упираться ногами после того, как ты в течение месяцев по семейному, и с виду дружески, беседовал с близкими союзниками. Победа была бы возможна лишь для человека, достаточно живо ориентирующегося в общем положении, чтобы сдерживать свою пылкость и с точной умелостью использовать редкие пригодные для решительного действия моменты. Но для всего этого президент был и слишком опешеломлен, и слишком медлителен.

Он не исправлял этих недостатков путем использования коллективной мудрости своих лейтенантов. Он объединил вокруг себя, для экономических пунктов договора, группу весьма способных деловых людей. Но они были мало опытны в публичных делах, и за одним или двумя исключениями, так же мало знали Европу, как и он. Президент обращался к ним нерегулярно, лишь когда нуждался в них для какого-нибудь специального вопроса. Таким образом, президент оставался таким одиноким, каким он был,—там с пользой для дела—в Вашингтоне. Его ненормальная холодность не допускала к нему никого, кто хотел бы быть в моральном отношении равным ему или возыметь на него более длительное влияние. Прочие американские пленипотенты были немы. Сам полковник Гоуз, несмотря на доверие к нему президента и более обширное знание людей и Европы, несмотря на то, что живость его часто приходила на помощь медлительности г. Вильсона,—стал мало по малу отходить на задний план. Все это поощрялось членами Совета Четырех,—завершивших роспуском Совета Десяти изолированность президента, имевшую своим первоначальным источником характер президента. Так, день за днем, неделя за неделей, он позволял обособлять себя, оставаясь без всякой помощи, без всякого совета. Он остался один среди людей более тонких чем он, в бесконечно тяжелых условиях, в то время, как для успеха своего дела он нуждался в фантазии, в знаниях всякого рода.

Эти, и многие другие причины, создали описанную нами ситуацию. При этом читатель не должен упускать из виду, что события, содержание которых сжато здесь на нескольких страницах, совершались медленно, постепенно, в течение около пяти месяцев.

Так как президент не представил никакого подробно разработанного плана, то Совет руководился в общем и целом в своей работе французскими и английскими проектами. Поэтому, желая привести эти проекты в согласие со своими идеями и личными задачами, г. Вильсон должен был пребывать в постоянной оппозиции к проектам, критиковать, отбрасывать их. Если он и получал удовлетворение от какой-нибудь мнимо-великодушной уступки по какому-либо пункту, (известный запас абсурдных предположений, которому никто не придавал значения, имелся всегда в наличности), то зато ему было трудно не уступить по другим пунктам. Компромиссы были неизбежны и



было очень трудно не делать их по главным пунктам. В конце концов, он обрел репутацию защитника Германии и он произнес целую речь по поводу намека (к которому он был безрассудно чувствителен), что он „германофил“.

Выказав с достоинством свои многочисленные принципы, он в первые же дни Конференции Десяти открыл невозможность обеспечить провал определенных частей программы своих коллег—французов, англичан или итальянцев, путем методов тайной дипломатии. Что оставалось ему делать? Он мог заставить затянуть конференцию до бесконечности путем простого непреклонного упорства. Он мог сорвать ее и вернуться в порыве гнева в Америку, ничего не устроив. Он мог сделать попытку обратиться ко всему миру через головы членов совета. Но все это были жалкие альтернативы, имевшие против себя много доводов. Притом, это были рискованные средства, особенно для политика. Своей ложной политикой при выборах, президент ухудшил свое личное положение в собственной стране. Не было никакой уверенности в том, что американцы поддержат его непримиримую позицию. Он вызвал бы против себя кампанию, результаты которой были бы затемнены всякого рода соображениями личного и партийного характера, и никто не мог бы поручиться, что в борьбе этой восторжествует право. Кроме того открытый разрыв с коллегами вызвал бы против него слепое возмущение „антигерманских“ страстей, которыми еще были воодушевлены все союзные народы. Его аргументы были бы тщетны. Те, к кому он обратился бы, не обладали достаточным хладнокровием для того, чтобы счесть его акт полезным для международной морали и для хорошего управления Европой. Раздался бы лишь крик, что президент хочет по всяческим постыдным и эгоистическим мотивам—„оставить бошей в покое“. Легко было предвидеть дружное мнение французской и английской прессы. Итак, бросив публичный вызов, он имел бы шансы потерпеть поражение. А если так, то не лучше ли было остаться, чтобы своим авторитетом повлиять на то, чтобы заключаемый мир не стал еще хуже, и попытаться сделать его возможно более справедливым—в тех границах, в каких это допускали ограничительные условия европейской политики? Но, что важнее всего, не погубил ли бы он Лигу Наций? И не являлась ли, в конце концов, эта Лига самым важным результатом для будущего счастья человечества? Договор мог быть изменен и смягчен со временем. Те или другие пункты, казавшиеся тогда жизненными, могли бы потерять свое значение. И многие постановления, казавшиеся неосуществимыми, и не осуществились бы по этим самым причинам. Но, даже в несовершенной форме, Лига мыслилась чем-то постоянным, являясь началом нового принципа управления миром. Истина и справедливость не могли быть установлены в международных отношениях в течение нескольких месяцев. Лига Наций, это тот источник, откуда они рождаются, когда настанет время. И Клемансо был достаточно умен для того, чтобы дать понять, что за известную цену он готов, пожалуй, принять и Лигу.

При этом повороте своей судьбы, президент был совершенно одинок. Озабоченный тревожениями старого мира, он ощущал большую потребность в сочувствии, в моральной поддержке, в энтузиазме толпы. Но оторванный от всех на конференции, задыхаясь в страстной и отравленной атмосфере Парижа, он не находил никакого отзвука из внешнего мира, ни одного горячего проявления симпатии или одобрения со стороны своих молчаливых мандаторов во всех странах. Он чувствовал, что пламя популярности, вспыхнувшее ему на-



встречу при его приезде в Европу, уже померкло. Парижская пресса открыто издевалась над ним, в собственной же стране его политические противники пользовались его отсутствием для создания ему враждебной атмосферы. Англия, холодная и критически настроенная, не отвечала ему. Он создал себе сам такую среду, что не мог получать оттуда нужного ему доверия и воодушевления, источники которых как будто иссякли.

Он ощущал потребность в усиленной коллективной вере, но ее получить не мог. Боязнь перед Германией господствовала тогда еще над всеми нами, и наиболее сочувствующие оставались весьма осторожными: не следовало ободрять врага, надо было поддерживать друзей, и не настало еще время для споров и возбуждения. Среди этой засухи увяла и улетучилась, подобно цветку, и вера президента.

В один из моментов справедливого гнева президент позвал свой Georges Washington. Он хотел, чтобы корабль увез его далеко от вероломных дворцов Парижа, туда, где нерушим был его авторитет.

Но он отменил свое распоряжение. И раз став на путь компромисса, он обнаружил роковым образом как недостатки своего темперамента, так и своей подготовки. Он мог следовать по возвышенному пути и действовать с упорством, он был способен возглашать заповеди с Синая или с Олимпа и оставаться недоступным в Белом Доме или даже в Совете Десяти;—так он мог оставаться неуязвимым. Но достаточно было ему снизойти до того, чтобы стать равным Четырем, и все было кончено.

И вот здесь, его богословский или пресвитерианский характер—как я определил его—начал становиться опасным. Разрешив, что уступки неизбежны, президент мог попытаться пустить в ход твердость, ловкость или использовать финансовую мощь Соединенных Штатов для того, чтобы отстоять возможно больше из существа дела, хотя бы за счет буквы. Но он был неспособен к нужному для этого компромиссу с самим собою. Он был слишком добросовестен. Пусть компромиссы были необходимы, президент оставался человеком принципа, считавшим себя целиком связанным четырнадцатью пунктами. Он не сделал бы ничего несовместимого с честью, ничего несправедливого, ничего, противоречащего его великому исповеданию веры. И так четырнадцать пунктов, не теряя ничего из своей словесной силы, стали объектом для комментирования и интерпретирования. Обманывая самих себя, заинтересованные стороны пускали в ход все те доказательства, при помощи которых—я осмелюсь так выразиться—предки президента убеждали себя в том, что направление, избранное ими для своего жизненного пути, соответствует каждой букве Пятикнижия.

Позиция президента по отношению к своим коллегам свелась к следующему: я делаю все возможное, чтобы идти вам навстречу, я вижу препятствия, становящиеся вам на пути, и я охотно говорил бы с вами насчет того, что вы нам предлагаете. Но я не могу сделать ничего, что не было бы справедливо, и правильно, и вы должны прежде всего доказать мне, что то, что вы желаете, действительно содержится в пунктах обязывающих меня деклараций. И тогда то началось то плетение софизмов и иезуитских толкований, которое должно было в конце концов пропитать ложью весь текст и всю суть договора. Найдено было слово чародеям всего Парижа:

Fair is foul and foul is fair  
Hover through the fog and filthy air



Самые хитроумные софисты и самые лицемерные прожектеры были посажены за работу, в результате которой получились такие премудрости, которыми можно было бы в течение более чем часа затуманить голову и человеку с более быстрым умом, чем президент.

Так, вместо того, чтобы сказать, что немецкая Австрия лишается права объединиться с Германией без разрешения Франции, что противоречило бы принципу самоопределения, договор деликатно заявляет: „Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии, в границах означенных настоящим договором, переступить которые она может лишь с согласия совета Лиги Наций“. Это в действительности то же самое, но звучит различно. И кто знает, не упустил ли президент из виду, что в другом месте договора предусматривается, что, для такого постановления, решения Лиги Наций должны быть *единогласными*?

Вместо того, чтобы передать Данциг Польше, договор решает, что Данциг будет „свободным“ городом в польских таможенных границах, признает за Польшей контроль за речной системой и железнодорожной сетью и постановляет, что „польское правительство будет бодрствовать над иностранными сношениями вольного города Данцига, а также защитой его граждан за границей“.

Учреждая иностранный контроль за речной системой Германии, договор объявляет международными „те реки, которые по своему положению дают доступ к морю более чем одному государству, с перегрузкой или без перегрузки с одного судна на другое“.

Число таких примеров могло бы быть увеличено. Истинная и ясная цель французской политики уменьшить население и ослабить экономическую систему Германии была, в угоду президенту, окутана в торжественную фразеологию свободы и международного равенства.

Но был один решающий момент в крушении моральной позиции президента и помрачении его разума. Это было, без сомнения, тогда, когда он дал себя, наконец, убедить, — к ужасу своих советников, — что расходы союзников по выплате пенсий и пайков могли быть, в отличие от прочих издержек войны, рассматриваемы, как „убытки, причиненные гражданскому населению союзных и дружественных держав вторжением Германии с суши, с моря и с воздуха“. Произошла длинная богословская борьба, в которой было пущено в ход много аргументов. И в конце концов президент спасовал перед законченной работой софистов.

Наконец, дело было завершено и совесть президента все еще оставалась непорочна. Наперекор всему, я полагаю, что темперамент его позволил ему оставаться при отъезде из Парижа истинно искренним человеком. Очень вероятно, что он все еще глубоко убежден, что договор действительно не содержит ничего, противоречащего его предыдущим декларациям.

Но дело зашло слишком далеко, и этому обстоятельству следует приписать последний трагический эпизод этой драмы. В своем ответе Брокдорф-Ранцау со всей силой настаивал на том, что Германия следила оружие на основе известных заверений, с которыми договор во многих пунктах находится в противоречии. Но этого-то президент не мог допустить. В минуты мук одинокого созерцания и в молитвах, обращенных к Богу, он не сделал *ничего*, что не было бы хорошо и справедливо. Если бы президент согласился, что немецкий ответ имеет какую-нибудь силу, то это убило бы его самолюбие и разбило бы его душевное равновесие. Все инстинкты его упрямой натуры запротестовали. Говоря языком психиатрии, можно сказать, что доказать пре-



зиденту, что договор означает банкротство его обещаний, означало бы больно ранить его нервные центры. Это была неприятная тема для спора, против рассмотрения которой объединились все подсознательные чувства.

Таким то образом Клемансо удалось провести предложение, которое несколько месяцев тому назад казалось из ряда вон выходящим и невозможным: не заслушивать немцев. Не будь президент так добросовестен, не скрой он от себя самого то, что он сделал, то он мог бы еще в последнюю минуту вновь обрести почву под ногами и добиться какого-нибудь немаловажного успеха. Но президент оставался неподвижен. Его руки и ноги были перевязаны хирургами и их можно было бы скорее сломать, чем раздвинуть. Желавший в последний момент провести в возможно большей степени принцип умеренности, г. Ллойд-Джордж увидал к ужасу своему, что невозможно переубедить президента в пять дней по поводу дела, в благородстве которого он старался уверить его в течение пяти месяцев. При всем том, переубедить этого старого пресвитерианца было труднее, чем обмануть его, ибо в заблуждении его заключалась вера и уважение его к самому себе.

Так, под самый конец, президент проявил твердость и отклонил примирение.

Перев. Нат. Шер.



## ТО, ЧТО БЫЛО...

(Бело-эмигрантская литература о гражданской войне 1917—1920 г. г.).

### I.

В дни гражданской войны в дни сражений, в дни переменчивого счастья, — история Революции не пишется. Слишком трепетна современность, слишком неопределенны силы борющихся сторон, чаша весов — побед и поражений — склоняется то на одну, то на другую сторону, очень подвижны и непостоянны линии белых и красных фронтов: быстро и часто стираются они и снова восстанавливаются на карте и полях страны, овеянной освежающим дыханием огненных ветров Революции...

Было странно видеть, — еще в 1919 г., — книгу Милюкова — „История русской революции“ — в дни, когда революция успела сказать свои только первые, хотя и очень многозначительные, слова, когда Милюков безнадежно искал тихой пристани, переезжая — в поисках спасения от Революции — из одного города в другой, метаясь от одной ориентации к другой, вырабатывая платформы, соглашения и т. д., и т. д. Обещанные дальнейшие четыре тома так до сих пор и не увидели света — гражданская война звала Милюкова к более действенной живой работе — организации буржуазных сил, — и перо историка было отброшено в сторону.

Ярки и красочны 1917—1920 годы, — годы активной борьбы буржуазно-помещичьего Версаля и Вандей против Революции. Корнилов, Алексеев, Краснов, Колчак, Деникин, Юденич, Северное Правительство, союзники, Петлюра, бесчисленное количество атаманов, Польша и Врангель — вот пестрая, не очень дружная и согласованная в своих действиях компания...

Так радостно-трепетны были надежды, такой близкой казалась Москва (и через Казань, и через Орел, и через Архангельск и даже Киев), уже виднелись в бинокль купола Петроградских церквей, многим уже слышался сладостный колокольный звон церквей Москвы, приветствующий победителей, — и снова тишина, снова в бессильной злобе сжимаются кулаки, снова эвакуация, снова союзнические полицейские бьют, и довольно часто, белобоженцев, снова где-то обещают и где-то отнимают пайки, где-то в течение 48-ми часов — в сырую осеннюю погоду — приказывают сдать палатки, в которых уютятся выплунутые Советскими Республиками бывшие „живые силы“.

Деникин двигался на Москву, — а в это время Верховный Правитель Колчак, взрывааемый сибирскими партизанами, под натиском Красной армии, семимильными шагами мерял необятные просторы Сибири, твердо и уверенно держа направление на Японию.

Северное правительство, оставшееся после ухода англичан, в Архангельске только потому, что радио, связывавшее его с Колчаком, ничего не говорило о резкой перемене Колчаком курса — вместо За-



пада на Восток; что эвакуироваться было слишком тяжело и громоздко, а генерал Миллер, с успехом заменявший главу правительства — народного социалиста Чайковского, — был уверен, что „каки-нибудь выдержим“, — бежало, не выдержав красноармейского натиска.

Генерала Юденича обманула и Красная армия, которая оказалась сильнее, чем он рассчитывал, и Финляндия, которая чего-то испугалась, и Эстония, „без основания“ видевшая в нем врага своей самостоятельности, обманули и союзники, не давшие всего того, что они обещали, и заставившие избрать самым „демократическим“ способом (чуть ли не под угрозой револьвера — в течение 40 минут) Правительство Северо-Западной области.

И много, много других...

Впереди Москва, Кремль, государственность, тишина — и тяжелое, как после пьяной ночи, пробуждение, разбитые надежды, Константинополь, Галата, беженки, превратившиеся в проститутку, офицеры, ставшие чистильщиками сапог на улицах Константинополя, интеллигенты, продающие папиросы, Африка, Бразилия, труд батрака...

В дни, когда снаряды рвали воздух и человеческие тела, когда карта Р.С.Ф.С.Р. была испещрена линиями фронтов, в дни борьбы — история гражданской войны не писалась, — было некогда, были надежды на победу.

Но постепенно карта РСФСР начала очищаться от белых пятен — не стало Колчака, уехал Деникин, эвакуировались генералы Миллер и Юденич.

Постепенно ликвидировались фронты гражданской войны. Перебираться от одного правительства, ликвидированного, к еще не ликвидированному — было трудно, рискованно и не у всех было достаточно к этому желания; оставшиеся без дела бывшие министры, генералы, чиновники, офицеры, журналисты лишились работы — и вот начинают появляться записки, воспоминания, мемуары белых эмигрантов.

Страницы эмигрантской белой литературы забрызганы слюной ненависти ко всему, что принесла с собой Революция, слезами о несбывшихся надеждах и чаяниях, полны криком о свершенных ошибках, раскаянием в них, грустью о безрадостном настоящем и грядущем; некоторые из писателей сознают (правда, немного поздно) всю бесплодность и бесцельность своей борьбы, ищут себе оправданий, а иногда и путей к примирению с Революцией.

Белая литература — очень ценный материал, рисующий всю гниль, весь распад белой эмиграции и полный крах того дела, за которое она боролась; написанная, в большинстве случаев, с целью самооправдания и себя и той идеи, за которую шла борьба, носящая часто агитационный против Революции и Советской власти характер, — она диалектически превращается в свою собственную противоположность — в великолепное агитационное средство против контр-революции всех мастей, рангов и группировок, давая очень богатый материал для объяснения и оправдания нашей Революции, Советской власти, ее путей и методов борьбы.

Их много белых летописцев огненных дней гражданской войны: генерал Деникин, на старости лет нашедший приют в Англии и уже написавший два тома своих воспоминаний; генерал Краснов, написавший огромный, в 2½ тысячи страниц, бульварный роман — „От Двуглавого Орла к Красному знамени“; Ветлугин — сочный, талантливый, но фельетонно-поверхностный и лживый со своими двумя книгами — „Авантюристы гражданской войны“ и „Третья Россия“; Станкевич со своими „Воспоминаниями“ о революции; Управляющий де-



лами Сибирского правительства Гинс („Сибирь, союзники и Колчак“); член Особого Сопещения при генерале Деникине — проф. К. Н. Соколов („Правление генерала Деникина“); Роман Гуль, Фон-Дрейер, Кирдецов, Анатолий Ган. Здесь же солидное издание Гессена — „Архив русской революции“, наряду с серьезными воспоминаниями Набокова — О Временном Правительстве и Добровольского — О Северном, помещающее на своих страницах истеричные, вызывающие у нас только презрение и гадливость, воспоминания истеричных дамочек и выживших из ума слоюнйавых профессоров, для которых величайшим злом, принесенным Революцией, является то, что из-за нее оказались разрушенными уютные уборные, а в театрах стали появляться люди в серых шинелях, женщины в платочках (занимающие к тому же места в б. царских и губернаторских ложах)...

У каждого летописца свое лицо, — но взятые все вместе они являют нам, подчас ничем не прикрытый, звериный лик раздавленной контр-революции...

## II.

Если трудовик Станкевич колебался с первых же дней революции, искал иногда новых путей, иногда подвергал переоценке свои старые идеалы, то твердокаменный кадет Набоков, бывший Управляющий Делами Временного Правительства, ни на одно мгновение не сомневался в правильности взятого им курса. Иногда встретишь в его воспоминаниях никому ненужные и так не идущие к нему слова о демократии и свободе — на фоне злой ненависти и презрения к тому, что хоть немного напоминает о социализме. „Социалистическая утопия“ — вот жушел, против которого направляет почти все свои стрелы Набоков, вот то, что никак не может примирить его даже с февральской революцией, вот почему он становится на крайнем правом фланге партии кадетов, после ее полураскола.

Но если Набоков иногда и заговаривает о демократии и демократизме, то генерал Краснов — вообще против всякой демократии. Она слишком чужда разуму и сердцу старого генерала, и внутренний фронт борьбы с Революцией для генерала Краснова начался не с октября, после перехода власти к Советам, а еще в апреле месяце, когда в армию начали впервые проникать многие, до сих пор неслышавшиеся в ней, до сих пор неизвестные слова и веяния, — и генерал Краснов прав, когда описание своей борьбы на внутреннем фронте он начинает с апреля месяца 1917 г....

Первые дни революции... „Керенский бегаёт по Думе — взвинченный, взволнованный, истеричный. Одет он был, как всегда. На нем был пиджак, а воротничок рубашки — крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился вместо франтовского какой-то нарочито-пролетарский вид... При мне он едва не падал в обморок, причем гр. Орлов-Давыдов не то давал ему что-то нюхать, не то поил чем-то, не помню“ (Набоков).

Керенский впадает в истерику, а в это время „члены прогрессивного блока Государственной Думы плакали в отчаянии по домам“ — из-за не в меру разошедшейся Революции.

Уже в средних числах марта на заседании Временного Правительства произошел очень характерный инцидент. „Милюков заметил, что ни для кого не тайна, что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших мартовскому перевороту. В ту минуту, как Милюков произнес приведенные мною слова, Керенский находился в далеком углу комнаты. Он вдруг остановился и оттуда закричал: „Как? Что вы сказали? Повторите!“ и быстрыми шагами



приблизился к своему месту у стола. Милюков спокойно и, так сказать, увесисто повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: После того, как господин Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело Русской революции, я не желаю больше ни одной минуты здесь оставаться. С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из зала“.

Так принимала уже в марте месяце буржуазия не во-время пришедшую Революцию.

Общее удивление — Набоков в этом признается — вызвало назначение до сих пор почти совершенно неизвестного, как „человека государственной мудрости“, Терещенко—министром финансов, а затем министром по иностранным делам. „Это был блестящий молодой человек, который несколько лет до того появился на петербургском горизонте, проник в театральные сферы, стал известен, как страстный меломан и покровитель искусств. Деятельность его, как министра финансов, не оставила по себе никаких следов.“

С удивлением узнаем мы сейчас о том, что „дипломатические представители союзников относились к Терещенко, как к министру по иностранным делам, с гораздо большими симпатиями, чем к Милюкову. Его *souplesse*, самая его светскость, отсутствие у него твердых убеждений, продуманного плана, полный его дилетантизм в вопросах внешней политики — все это делало из него, при данных обстоятельствах, человека чрезвычайно удобного для разговоров. А за все время существования Временного Правительства вся наша международная политика ограничивалась разговорами“.

Признание со стороны г. Набокова очень ценное, но, пожалуй, немного слишком позднее. Мы об этой политике „мягких разговоров“ знали еще тогда, когда в апреле месяце устраивали демонстрации протеста против Временного Правительства.

Армия, три с половиной года гнившая в окопах, нуждалась не в разговорах, а в активной внешней политике, направленной к скорейшему заключению мира.

Будучи убежденным защитником внешней политики, проводившейся Милюковым, Набоков в то же время не может не признаться, что „если бы в первые же недели было ясно осознано, что для России война безнадежно кончена и что все попытки продолжать ее ни к чему не приведут, — катастрофу, быть может, удалось бы предотвратить“.

Набоков все-таки еще очень долго сомневался — держать ли твердо и прямо курс на ликвидацию войны или заниматься салонными разговорами с союзниками, как это с успехом делал Терещенко, но для ген. Краснова, находившегося в гуще солдатской массы и знавшего солдат, — этот вопрос был решен и решен с того момента, как только фронт получил первые известия о революции. Когда его спросили, как он смотрит на переход в наступление революционных войск с комитетами во главе — он ответил, что „как русский человек, он очень хотел бы, чтобы оно завершилось победами, но как военному, сорок лет верившему в незыблемость принципов военной науки, — ему будет слишком больно сознавать, что он сорок лет ошибался“.

Да, Красков ошибался. 4 года Революции показали, что революционные войска могут побеждать и побеждают, когда они знают, за что они борются и умирают.



На авантюру Корнилова — Краснов ее видный участник — смотрел пессимистически с самого ее начала. Не было почвы для борьбы, не было сил, неправильна была тактика нового Бонапарта, не пошедшего на Петроград вместе с войсками, а оставшегося сидеть в Ставке; даже значительная часть офицерства считала предприятие не своевременным, причем многие генералы относились ко всей авантюре отрицательно (Черемисов, Парский, Клембовский, Бонч-Бруевич).

И когда Краснов стал уже пленником Смольного, когда Тарасов-Родионов отвозил его в Петроград к Дыбенко — Краснов продолжал считать, что он только выполнял приказ Верховного Главнокомандующего, двигаясь на Петроград во главе 3-го корпуса.

Вскоре, пользуясь слабой охраной и доверием, Краснов бежал на Дон, чтобы стать там во главе анти-советских сил...

Представители буржуазии и помещиков — Набоков и Краснов — и в 1920—21 г. остались верны тому, чему поклонялись. Не то трудовик Станкевич, как и вся его партия, безнадежно запутавшийся с первых же дней Революции в раздиравших Россию противоречиях. Каждой странницей своей книги он говорит нам о шатаниях и колебаниях, испытываемых мелкой буржуазией в дни разгоревшейся классовой войны между буржуазией и пролетариатом.

Сначала он приемлет войну: „Я чувствовал себя действующим в униссон с демократией Англии — над моим столом висели портреты Асквита и Ллойд-Джорджа и рядом с ними портрет Бебеля“. В этом, казалось бы невозможном, сочетании Бебеля с Ллойд-Джорджем сказался весь мятущийся и колеблющийся трудовик.

В апреле Станкевич стал членом Исполкома Петросовета. Здесь „Чхеидзе — незаменимый, энергичный, находчивый и остроумный председатель, но именно только председатель, а не руководитель Совета и Комитета; Стеклов, изумлявший всех своей работоспособностью, умением пересидывать всех на заседаниях, и упорно гнувший крайне-левую линию; Либер, яркий неотразимый аргументатор, направлявший острие своей речи неизменно влево; Дан-воплощенная догма меньшевизма, никогда не сомневавшийся и не колебавшийся, всегда с запасом бесконечного количества фраз, в которых есть все, что угодно, кроме действия и воли“.

Постепенно начали намечаться расхождения между эс-эроменьшевиствующим Петросоветом и Временным Правительством. Формула — „постолько, — поскольку“ — раздражает Станкевича и он убежден, что, „одно — два посещения Милюковым Исполнительного Комитета могло бы оказаться весьма поучительным и для Комитета и для Милюкова, и могло бы иметь чрезвычайные последствия в развитии Русской революции“. — Бедный Совет, бедный идеалист Станкевич!

Идет энергичная подготовка к наступлению 18 июня. Керенский обещает фронты. В диспуте перед колеблющимися полками он был разбит капитаном Дзевалтовским, „самоуверенно и дерзко повторявшим все нападки большевистской прессы“ (Станкевич).

Когда, после неудачного наступления 18-го июня, Станкевич, начавший задавать себе вопросы — „является ли настроение солдатской массы только распушенностью, или это нечто серьезное“, попытался поделиться своими сомнениями с Савинковым, — „тот не понимал или делал вид, что не понимает“, потому что Станкевич член Исполнительного Комитета, а „Савинков всегда относился к последнему враждебно“.

Роль проводников идей Временного Правительства в армии выполняли комиссары. Что же представляли они собой? „Ходоров,



комиссар 5-ой армии, социал-демократ, отличался чисто полицейской энергией и ретивостью в усмирении армии и подчинении ее командному составу“, здесь же—Филоненко, упорно стремившийся к министерскому портфелю (он выбрал себе портфель министра по иностранным делам). „Командный состав смотрел на комиссаров не как на противников и не как на чужих, а как на союзников в общем деле“ (Станкевич).

Дело усмирения солдат было действительно общим и командного состава и комиссаров Временного Правительства.

Более трех лет гнившая в окопах, изъеденная вшами солдатская масса, после Революции начала требовать ответа на вопросы—о войне, мире, земле, и когда у комиссара Юго-Западного фронта Линде в ответ на эти вопросы для солдатской бунтующей массы не нашлось других слов, кроме как: сволочи, негодяи, свиньи, ничего другого, кроме угроз железом и кровью уничтожить колеблющихся—солдатская масса не выдержала.

Этот эпизод убийства комиссара Линде с большой силой передан ген. Красновым в его воспоминаниях—„На внутреннем фронте“.

Ф. Ф. Линде приехал в разложившийся 444-ый полк.

„Солдаты вас никогда не послушают“, сказал он Краснову,—„с ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом“. И началось воздействие „психозом“, окончившееся для Линде трагически.

„Когда Ваша родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага,—отрывисто-отчетливо говорил Линде, и его голос отдавало лесное эхо,—вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливых требований своих начальников. Вы не солдаты, а *сволочь\**), которую надо уничтожить.“

Вы—завзавшиеся *хамы и свиньи*, недостойные свободы. Я требую, чтобы вы сейчас же выдали мне тех, кто подговаривал вас не исполнять приказ начальника. Иначе вы ответите все—и я не пощажу вас“.

„Когда Линде замолчал рота стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от комиссара“.

Зачинщики были выданы. Когда один из них пытался что-то сказать,—Линде бросился к нему: „Молчать, *сволочь, негодяй*. После поговорим!“.

После того, как „дело было сделано“—Краснов, видя возбужденное настроение солдат, предложил Линде уехать. Линде решил еще остаться поговорить с солдатами. Он начал обходить батальоны, и за ним следовали кучки возбужденных солдат.

„В это время из леса вышел 443-ый полк, солдаты 444-го бросились в ружье и сейчас же началась бешенная пальба. Все 6.000 солдат, а, может быть и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Застучали пулеметы. Стреляли вверх. Линде и начальник дивизии быстро уселись в автомобиль. В это время пули стали свистеть мимо нас и шелкать в автомобиль. Шофферы остановили машину. Линде бросился в землянку. На спуске к землянке какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он побледнел, но остался стоять,—видно удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью. Мне нечего было больше делать. Я рысью поехал из леса“.

„Психологическое“ воздействие оказалось слишком сильным...

Распад старой армии шел гигантскими шагами. Вопрос о войне и ее задачах требовал категорических решений. Соглашаясь с мне-

\*) Курсив наш—А. С.



нием генерала Верховского, что „так как революцию отменить нельзя, то надо поторопиться отменить войну, или во всяком случае изменить ее“,—Станкевич все же считал нужным выдвинуть два проекта—о „создании стимула для борьбы с внешним врагом—в виде денежных наград за военные трофеи, лишь бы предупредить несдержанный разгул солдат на внутренних отношениях“ и проэт „создания специальных надежных отрядов из социально-высших классов“—конечно, для борьбы не на внешнем фронте, а на внутреннем.

Ни эти проекты, ни другие помочь не могли. Падение Временного Правительства для всех казалось неизбежным.

„В эти дни—пишет Набоков—было отдано совершенно академическое распоряжение об аресте Ленина. Накануне большевистского восстания Керенский появился в Совете Республики, заявил о раскрытом заговоре и просил поддержки и полномочий... Посол Бьюкенен был расстроен и угнетен... После переворота заседания Городской Думы еще продолжались, превратившись в какую-то сплошную истерику. Основной тон задавался городским головой Г. И. Шрейдером, человеком во многих отношениях почтенным, но как-будто лишенным задерживающих центров. Смехотворный „Всероссийский Земский Собор“, им созданный, оказался полной неудачей. Большевики, вероятно, относились с большой иронией к этой попытке организации общественного мнения и продолжали делать свое очень реальное дело“.

А дело было действительно слишком много: организация победы, подавление продолжающих сопротивляться победе Октября, мир, земля....

Узел войны разрублен декретом о мире.

У Станкевича появляются сомнения в правильности того пути, которым он шел до сих пор, мысли о том, что „террор и массовые казни появились лишь после того, как мы объявили большевикам войну, что они только защищаются“. Ему кажется, что „как ни ужасен и безобразен русский конец войны (это написано в 1920 г.! А. С.)—он все же лучше мира, заключенного союзниками: десять миллионов людей, воткнувших штыки в землю и повернувшихся спиной к вооруженному до зубов противнику,—это современнее, чем американские танки. Толпы солдат бессознательно шли по исторически правильному пути“.

Но примириться с Советской властью Станкевич не может. Помимо того, что он не приемлет Брестского договора,—у него слишком тонкая душа:—его „возмущает неэстетическая картина Наркомов, сидящих в Кремле“...

Началась полоса гражданских войн, и Станкевич—воплощенный лик мятущейся мелкой буржуазии—заметался в поисках ориентации. „К кому идти?“—спрашивает он.—„К Деникину? Украинцам? Литовцам? Донцам? Грузинам? Колчаку? Полякам? Французам?—или к большевикам,—ведь они остатки русской свободы и революции“.

Выбор, как мы видим, был очень большой. Свершатся эпохи, пройдет еще немного времени и, быть может, Станкевич и 이제 с ним вернутся, как блудные сыны, туда, где победила Революция \*).

### III.

Как спрут, огненными щупальцами белых фронтов все туже и туже стягивала контр-революция Советскую Республику. Только теперь, после победоносного завершения нами борьбы с внешней

\*) Ныне Станкевич примыкает к сменовеховцам—А. С.



и внутренней контр-революцией, используя сохранившиеся от нее (неприкрытые за ненужностью столь необходимым в дни борьбы демократическим флером) материалы и документы,—могут понять и осознать сомневавшиеся ту угрозу, которую несли завоеваниям Революции (не только Октябрьской, но и февральской) большие и малые Колчаки и Деникины. Всюду, где временно ликвидировалась Советская власть,—неизменно приходила на смену железная пята генеральской диктатуры, оттаившей в сторону, как ненужную жалкую ветошь, мелкобуржуазные меньшевистско-эсеровские группы, иногда еще продолжавшие лепетать с жалобно-удивленной миной о свободах и демократиях...

Слабость большевистских сил, неорганизованность и малочисленность Красной Армии способствовали очень быстрому военному перевороту, произведенному в Сибири чехо-словацкими войсками под командой Чечека, Гайды и Диттерихса. Во главе антибольшевистских сил „встал случайный человек полковник Гришин, живший под конспиративной фамилией Алмазова. На смену красному знамени взвился бело-зеленый флаг—символ лесов и снегов сибирских“. Всплывает идея автономии Сибири (некоторые из сепаратистов даже мечтали войти в виде отдельного штата в состав Америки).

Первую роль в областном совете начинает играть с.-р. Дербер. „Это был профессиональный партийный деятель, живший за счет партии,—это особый в России, нелюбимый широкими кругами русского общества,—тип политического деятеля“—пишет быв. Управляющий делами Сибирского Правительства Гинс, в своих воспоминаниях. „Сибирь, Союзники и Колчак“ (изд. Пекин. 1921 г.)

Областная Дума на тайном заседании (это происходило, после неожиданного выступления большевиков) избрала Временное Правительство. Избрание носило очень „демократический“ характер,—даже Гинс не без иронии вспоминает об этом: „На частной квартире собравшаяся исподтишка небольшая группа членов Думы—человек около 25 из 150—„избрала“ 16 министров с портфелями и 4 без портфелей. Постоянно прислушиваясь, не идут ли большевики, храбрые заговорщики быстро выкрикивали имена кандидатов, избирая даже случайных незнакомых лиц. Применена была система избрания—„par acclamation“.

Кто же входит в состав Сибирского Правительства?

Вологодский—Председатель Советов Министров—„был уже не тем, чем он был раньше,—... однако другой более удачной фигуры на безлюдном сибирском горизонте не было“.

У Крутовского—Зампредсовета министров—„к сожалению, проявлялось и очень заметно старческое самолюбие: он желал всегда быть первым, не выносил возражений, постоянно обижался. Он считал одолжением со своей стороны, что вошел в Правительство“...

Министр юстиции Патушинский „отличался недопустимым для общественного деятеля недостатком—чрезвычайной экспансивностью. Он окружил себя каррикатурною помпой: имел двух адъютантов и называл ставкой свой вагон“...

Тов. министра внутренних дел—с.-р. Михайлов, „будучи неудовлетворен званием товарища министра—присвоил себе звание „первого“ товарища: он завел себе такую свиту и охрану, что, после его отставки, потребовалась целая комиссия для ликвидации счетов и ревизии его расходов. Когда он шел купаться, то из купальни загоняли „простонародную публику“.



В Самаре уже орудует „Комуч“—Комитет членов Учредительного Собрания. На Урале—в Екатеринбурге—организуется Уральское Правительство („завоеванные свободы сохраняются, но злоупотребление ими в ущерб порядку не допускается“—первый пункт его программы), далеко на Востоке появляется Временный Правитель—ген. Хорват, во Владивостоке формируется „Правительство Автономной Сибири“, на Амуре—Амурское Правительство—и Гинс признается, что вообще было трудно пересчитать все имевшиеся правительства. „Каждый сам себе правительство“—таков, очевидно, был лозунг всех этих правительств, творивших волю „народа“.

Япония не дремала и медленно, но настойчиво прибирала в свои руки Приморскую Область, объявляя в своих воззваниях, что „по приказанию Святого Императора Японии они хотят бескорыстно помочь России освободиться от вредных идей“.

...Необходимо объединение власти. Организующая роль переходит к Уфимскому Государственному Совецанию, открывшемуся 8-го сентября 1918 года, под председательством Авксентьева. 23-го сентября формируется Всероссийское Правительство—Директория—в составе: Авксентьева, ген. Болдырева, Вологодского, Астрова и Чайковского. Случайно оказавшийся в Омске (по пути к ген. Деникину) адмирал Колчак назначается военным и морским министром.

На банкете—глава Директории Авксентьев произносит тост. „Предлагаю выпить за наше блестящее прошлое и, надеюсь, блестящее будущее—адмирала Колчака“.

Счастливого будущее настало скоро: 18-го ноября Директория была свергнута и адмирал Колчак стал Верховным Правителем.

Эс-эры, уготовившие путь к власти белому адмиралу,—отметены в сторону. Верховный Правитель Колчак сразу начинает проявлять великодержавные замашки: круто разрывает всякую связь с атаманом Семеновым, не во всем желающим ему подчиниться, шлет категорические директивы ген. Деникину, требует строгой отчетности в проводимой политике у Северного Правительства, намечает условия соглашения ген. Юденича с Эстонией и т. д.

Союзники, видя в его лице действительно крупную фигуру, выдвинутую реакционными силами в борьбе с Советской Россией, а не жалких болтунов—эс-эров, обещают оказать ему самую энергичную поддержку вооруженными силами.

„В течение ближайших 15-ти дней“—еще в ноябре 1918-го года заявил Колчаку французский ген. Жаннен,—„вся Советская Россия будет окружена со всех сторон, и будет вынуждена капитулировать“.

История сказала другое: лишенная помощи чехо-словацких войск, стремившихся вернуться скорее домой, не поддержанная армией союзников, постоянно взрывающаяся изнутри партизанскими крестьянскими восстаниями, столкнувшаяся на Волге с организованной и сильной Красной Армией—белая диктатура Верховного Правителя Колчака должна была погибнуть и погибла.

7-го февраля 1920-го года Колчак был расстрелян,—одним претендентом на царский престол стало меньше.

#### IV.

Богатый фактический материал о работе и деятельности Северного Правительства дает С. Добровольский в своих воспоминаниях о „Борьбе за возрождение России в Северной Области“ („Архив Русской Революции“, том 3). Через Финляндию он бежал в Архан-



гельск, где и занял пост Верховного прокурора при Северном Правительстве. В Петрограде он жил надеждой на близкий приход союзников. На пароходе, увозившем его в Архангельск, он был неприятно изумлен не совсем тактичным отношением к нему—видному сановнику,—и к тем офицерам и генералам, которые ехали с ним вместе, со стороны англичан; последние, захватив русский пароход, заняли на нем лучшие места, а спасателям отечества—„были предоставлены места в трюме, где царило зловоние, и где предстояло путешествовать вместе с арестантами“.

„Некоторые события в начале создания Северной Области носили характер буффонады, где смешались в одну кучу и „высокая“ политика послов великих держав и полное непонимания русской жизни поведение высшего английского командования, и неизлечимое политиканство и конкуренция с большевиками в области социальных опытов первого Правительства черновско-эс-эровской ориентации, и, наконец, непримиримое отношение некоторых офицерских кругов к новому строю; с тенденцией возвратить русскую жизнь вооруженной рукой в русло ее безвозвратного прошлого“. Стиль, хотя и очень высокий, но смысл вполне понятный.

После свержения Советской власти (при поддержке союзных послов—Нуланса, Френсиса и Де-ла Торетта) образовалось Верховное Управление Областью в составе: Чайковского (н.-с.), Лихача (с.-р.), Маслова (с.-р.), Иванова (с.-р.) и Гуковского (с.-р.).

Но... история повторяется,—и здесь с эс-эрами произошло то же самое, что и с Уфимской Директорией: капитан Ч. арестовал все Верховное Управление и свез его в Соловецкий монастырь. Переворот кончился почти удачно: англичане предложили Чайковскому составить новое, более умеренное правительство, куда уже вошли кадеты—Зубов, кн. Куракин и др. Чайковский призвал в Архангельск ген. Миллера, который должен был служить буфером между Правительством и английским командованием.

30-го апреля 1919 года Правительство Северной Области признало Колчака Верховным Правителем „в целях восстановления Единой России“.

„На параде в честь прибытия английских отрядов тягостное впечатление своим озлобленным мрачным видом производил, так называемый „Дайеровский“ батальон, составленный из пленных красноармейцев и большевиков, освобожденных из тюрем по приказу ген. Айронсайда—англичане надеялись, что они исправятся и забудут свои прегрешения. Но беда—по словам Добровольского—заключалась в том, что „этот батальон состоял из озлобленных низов населения с неизжитой еще идеологией классовой борьбы“.

Если Станкевич думал, что одно-два посещения Милюковым Петроградского Совета Рабочих Депутатов могло изменить направление всей Революции, то не менее наивный идеалист Добровольский думает, что „если бы ген. Миллер обратился на параде с теплыми прочувственными словами к этим солдатам, то они забыли бы вредные идеи о классовой борьбе“ („доброе слово всегда находит отклик в самой зачерствелой русской душе“), и этот батальон не перешел бы при первой возможности на сторону Красной Армии.

Спокойствие, гражданский мир царили не долго. Начались волнения рабочих, забастовки. В годовщину Революции—12 марта 1919 г.—были устроены митинги. За елишком резкие выступления против англичан и правительства—было расстреляно несколько членов профсоюзов—рабочих и „среди них коммунист Теснанов“. У военно-по-



левого прокурора Добровольского начали открываться глаза—он „по-нял и осознал пропасть, которая лежала между классовым мировоззрением рабочей среды и национально-патриотическими кругами общества“ (конечно, надклассовым).

Архангельское Правительство надеялось на скорое соединение своей армии с армией Колчака. „Но вдруг начинают поступать все более и более тревожные сведения. Войска адмирала Колчака начинают свое стремительное отступление“. Тут же, вскоре в общество начинают проникать слухи о том, что доблестные, благородные, до конца верные, союзники решили вернуться домой, считая дальнейшую борьбу безнадёжной, т.к. „многие элементы еще не изжили большевизма.“ Добровольский с грустью признается, что „разложение фронта, падение адмирала Колчака показывали, что ставка на оздоровление русских народных масс и изжитие ими большевизма, считалась проигранной, что еще более усугублялось постоянными восстаниями в нашей армии“.

Английских солдат сменило национальное ополчение, куда, конечно, входят „лояльные элементы всех слоев населения при гарантии личной благонадежности каждого ополченца квартальным комитетом“. В армии среди офицерства, усиливаются пьянство и грабежи.

„Полковник N., вечно пьяный, гарцуя на улицах Пинеги, требовал, чтобы жители при встрече с ним снимали шапки, и избил однажды за неисполнение этого требования председателя Земской Управы“.

Деньги полученные на контр-разведку, расходуются на личные нужды. Открыто производится обмен водки и рома, полученных от англичан, на меха. Офицеры и солдаты начинают избивать национал-ополченцев. Происходят солдатские бунты-восстания в Онеге, Селецке, Пинеге, Двинском районе, в „Дайеровском“ батальоне и других частях. По поводу этих солдатских восстаний—один английский офицер сказал: „Русский офицер не надо бояться,—русский офицер—карош, а русский солдат—сволочь,—большевик“ (Слово—„сволочь“ так коробит слух и зрение Добровольского, что шесть последних букв его он заменил точками).

Эвакуировавшиеся англичане предложили сделать то же самое ген. Миллеру и Архангельскому Правительству. „Все строевые офицеры указывали ген. Миллеру, что армия в строевом, техническом и хозяйственном отношении была всецело на попечении англичан, что в связи с их уходом грозит неизбежный крах всему делу,—и настаивали на уходе с Севера. Решение ген. Миллера остаться было объявлено офицерам и принято ими без всякого энтузиазма, холодно и мрачно“.

После ухода англичан собралось Земско-Городское Собрание, которое, сделав маленький нажим на Правительство, добилося ввода в него двух эс-эров и одного н.-с.

„Это правительство обратилось к населению и армии с воззванием о своей решимости дальнейшей борьбы с большевиками за Всероссийское Учредительное Собрание“.

„Для лиц, стоявших вблизи армии было ясно, что в ответ на ту пропаганду, которую ведет противник, необходимо начать вести пропаганду и в наших войсках.“ При штабе был организован „отдел агитации и пропаганды, переименованный затем в культурно-просветительный“. На фронт начали посылаться газеты и было решено подготовить кадр агитаторов-пропагандистов. Ведь „эти ужасные солдаты“ еще не изжили идей классовой борьбы, и общественно-полити-



ческие деятели и мужи государства в разработанную программу лекций для солдат внесли самые животрепещущие и актуальные темы, как-то: „Великая Французская Революция“, „Революция 1848 года“, „Смутное движение на Руси“, „Конституция современных государств“ и т. п. „Курсами заведывал ротмистр М., и он принимал все меры к тому, чтобы отыскать в Архангельске какого-нибудь государственника-социалиста типа Носке или Шейдемана, чтобы привлечь его к чтению лекций на курсах“.

Увы, даже такого не нашлось и солдаты должны были выслушивать лекции кадетствующих или явных черносотенцев.

„Культурно-просветительную“ работу развернуть не удалось—на нашу сторону перешел один из полков. 4-го февраля началось наше наступление, а 18-го „военные и гражданские чины бегали по Архангельску в поисках подвод для семейств и багажа, надеясь в дальнейшем при первой возможности продолжить борьбу с большевиками за идеи демократии и гражданственности“.

## V.

К. Н. Соколов, политические взгляды и убеждения которого очень близки к Добровольскому, свои воспоминания о ген. Деникине и о всей деникинщине в целом, изложил в книге—„Правление генерала Деникина“. Видный кадет (правый), игравший в Правительстве ген. Деникина очень крупную роль, он заведывал „Освагом“ (Осведомительным агенством), и был в то же время ближайшим советником самого Деникина в деле выработки важнейших законов.

Ген. Деникину, „царю Антону“ и „благородному рыцарю Прекрасной Дамы—Великой, Единой, Неделимой России“, как именует его Соколов, с первых же шагов своей деятельности пришлось столкнуться с Кубанским Правительством, открыто тяготившим к автономии и самостоятельности. Ген. Краснов, сидевший на Дону уже „создал Управление Всевеликого Войска Донского, окружил себя царскою пышностью, завязал дипломатические сношения с Берлином; он проявлял тенденции к расширению границ Всевеликого Войска Донского и хлопотал перед Императором Вильгельмом о признании за Доном прав на Царицын, который вскоре должен был быть взят Донской Армией“.

Вопрос об объединении всех белых сил на открывшейся мирной конференции стал на очередь дня, т. к. „о допущении представителей большевиков не могло быть и речи“. Полномочным представителем был назначен Сазонов, но „из всего этого вышло мало толку, т. к. союзники и не подумали допустить С. Д. Сазонова на мирную конференцию, и русская делегация была принуждена прозябать на положении делегаций разных угнетенных народностей, или даже худшем“.

После того, как ген. Деникин, правда, не без больших колебаний, подчинился Верховному Правителю Колчаку,—было решено послать за границу делегацию для разъяснения союзникам всего происходящего на Юге России и для связи с представителями Колчака.

Соколов не без иронии описывает совершенное делегацией путешествие. В Тулоне они сидели на пароходе в ожидании получения билетов в Париж до тех пор, пока „выгрузились солдаты и офицеры, понемногу исчезли беженцы, уехали швейцарцы, голландцы, бельгийцы. На пароходе остались мы одни (делегация). Положение наше было незавидно и, что хуже всего, с оттенком глупости“. Пароход начали дезинфицировать, изредка поливая карболкой и самую деле-



гацию. Наконец она выехала в Париж. Здесь ее никто не встретил, кроме „толпы зевак, которых привлекал вид черкесов и самой делегации, беспомощно толпившейся около своих чемоданов“.

Попытки завязать тесную связь с представителями Колчака дали очень мало результатов.

„Какой-то холодок взаимонепонимания и даже недоверия существует между нами и органами Общероссийского Правительства.— Нам кажется, что с высоты своей позиции они смотрят на нас не без пренебрежения... Клемансо предъявляет нам обвинения в германофильстве... Союзные правительства испытывают неимоверные затруднения со стороны оппозиционных групп, радикальных и социалистических, и часто принуждены прибегать к разного рода уловкам, чтобы оказывать нам помощь“.

Из газет делегация узнала, что „английский полковник Марш в 40 минут сформировал Северо-Западное Правительство во главе с Лианозовым, вынудив у него признание независимости Эстонии“, оказывавшейся помогать войскам Юденича до тех пор, пока она не будет признана. 10-го сентября делегация вернулась в Новороссийск, не выполнив возложенных на нее поручений.

Несмотря на самый разгар военных успехов ген. Деникина,— общее положение, которое застал, по возвращении на Юг, Соколов, было не из блестящих.

„Нет хорошего управления, интеллигенция недоверчива, рабочие угрюмо-враждебны, крестьяне подозрительны. Вместо земельной политики—бесконечные аграрные разговоры. Политическая жизнь выражается в непрекращающейся свалке мелких групп, подгрупп, кружков, центров и союзов, которые интригуют, доносят, клеветают, ког-то валят и больше всего болтают и сиплетничают“.

Единственным твердым планом работы для всех органов Правительства—была „линия работы без социалистов и евреев“,—и сам ген. Деникин безнадежно путался между двумя твердо наметившимися правительственными группировками—„явных крайних монархистов и правых кадетов.“ Крестьяне ожидали радикального разрешения вопроса о земле, служащие, получавшие мизерные оклады жалованья, голодали, с рабочими дело обстояло безнадежно; сильно тревожили тыл армии постоянные партизанские набеги.

Вопрос о Кубанской самостоятельности был разрешен с легкостью необычайной: Кубанская Рада разогнана, Калабухов расстрелян, остальные самостийники высланы за границу.

Армия была неизменно плохо снабжена и одета. „Тыл спекулировал, а на фронте вошел в обиход—„реалдоб“ (реализация военной добычи)—групповой и индивидуальный. Многие популярные военачальники возили за собою поезда-гиганты в несколько десятков вагонов, груженных мануфактурой, сахаром и другими припасами. В среде офицерства начали открыто проявляться монархические тенденции,—ген. Деникина начали считать уже слишком левым, появилось недовольство—не скрываемое—союзнической ориентацией“.

Несмотря на эти грозные симптомы начавшегося развала,—Правительство считало, что более 3—4 заседаний до занятия Москвы устроить не удастся.

Если Архангельское Правительство в противовес большевистской агитации начало посылать на фронт газеты и организовало для солдат чтение лекций о западной демократии, то Правительство ген. Деникина собиралось поставить агитпропагандистскую работу гораздо шире. Был создан Отдел Пропаганды,—Осведомительное Агент-



во. Деятельность „Освага“, истратившего за год более 200 миллионов рублей (что для 1919 года было очень значительной суммой)—реальных результатов не дала и дать не могла. Отделения „Освага“ наполнились дезертировавшими и укрывавшимися в тылу офицерами; никакой агитационной работы среди крестьян—при отсутствии всякой земельной политики—вести было нельзя, а рабочие были вообще неподходящим элементом для обработки в духе „Единой и Неделимой“.

Попытки К. Н. Соколова, стоявшего во главе Освага, оправдать более чем бездарно-слабую работу белого Главполитпросвета, оказываются тщетными.

Более откровенно о днях и делах Освага повествует Иван Наживин, работавший там вместе с Чириковым, Иваном Буниным, Сургучовым и др. Привлекло же Наживина к работе в Осваге, помимо желания „сеять разумное, доброе, вечное“ то, что „там гарантировался хороший заработок, большой тираж и большое распространение печатавшихся Освагом книг“.

„Учреждения Освага были переполнены маменькиными сынками и вездесущими барышнями . . . Общая атмосфера Освага напоминала что-то вроде блаженной памяти Земсоюза или Земгора . . . Здесь гвардии полковники заведывали литературой, моряки готовились управлять кинематографом и барышни щебетали о каких-то эспри в то время, как молоденький поручик изображал на потеху всем, как барыня, пуская в ход все фигли-мигли, старается выпросить у какого-то полковника сахару . . . Пропаганда, в особенности в провинциальной глуши,—была отдана в руки оставшихся не у дел спортсменов, отставных предводителей дворянства, чиновников казенной палаты и даже милых дам, которым лишняя пара тысяч жалованья, конечно, не мешала“ . . .

На письменном докладе Наживина о деятельности Освага ген. Деникину, последний наложил резолюцию: „Приказываю полковнику Энгельгардту немедленно разогнать всю эту сволочь. Осваг в глазах порядочных людей все более и более становится посмешищем и сборищем всяких негодяев и прохвостов“. Но строгая резолюция Главнокомандующего не имела никаких последствий: потихоньку и незаметно ее засосало бюрократической тиной, и все осталось на своем месте“.

Мы думаем, что иначе и быть не могло: ведь если бы попытались разогнать „всю сволочь из Освага—этого „сборища негодяев и прохвостов“,—то, пожалуй, пришлось бы разогнать весь Осваг . . .

В течение всей гражданской войны мы забрасывали наши армии агитационными брошюрками, плакатами и воззваниями, сыгравшими очень большую и значительную роль в истории нашей вооруженной борьбы. Пусть наша агитационная литература не всегда была удачна, пусть красноармейцам, уже опрокинувшим Деникина в Черное море, плакат упрямо твердил о том, чтобы они добились Колчака (уже расстрелянного в Сибири), пусть уже после окончания войны с Польшей, трудармеец в шахтах Донбасса методически и упорно-долго увещевался в тех бедствиях, которые несет за собой дезертирство с польского фронта,—мы в нашей агитационной литературе не найдем образцов глупой бездарности и пошлости.

Пытались подражать нам в издании агитационной литературы и белые агит-пропагандисты,—но в большинстве случаев ничего, кроме конфуза, не получалось. Так, о брошюре—„Разговор белогвардейца с красноармейцем“ (издание Освага) Деникиным была дана



краткая, но крепкая рецензия по адресу автора: „Немедленно выгнать вон этого осла“...

А ведь, казалось бы, сколько прекрасных возможностей было для работы Освага; во главе его стоял профессор, а заместителем был бывший член Государственной Думы полковник Б. А. Энгельгардт, б. гвардейский офицер уланского полка, держатель скаковых лошадей, фуксом бравший призы на гладких скачках, кончивший Академию Генштаба по настойчивой протекции б. вдовствующей императрицы Марии, крупный агроном, октябрист,—стаж большой и очень подходящий для выполнения обязанностей белого зампредглавполитпросвета.

Красная Армия, в течение долгого времени игравшая „в поддавки“,—вдруг начала играть „в крепки“. При первых же известиях о неудаче на фронте—ввели всеобщее военное обучение для служащих, начиная с министров, и „Астров ходил с винтовкой, Государственный Контролер подвергался муштре под командой своего секретаря, а Начальник Управления Внутренних Дел обучался метанью ручных гранат“.

„Многие из членов Особого Совещания начали взывать к „большевистским методам“, требовали применять „стенку“; на Дону пытались провести поголовную реквизицию теплых вещей для фронта; были закрыты кафе, рестораны, кинематографы,—началось уплотнение помещений,—и, как венец всего,—эвакуация.

Поиски подвод („эвакуируйся, кто как может“), драка из-за вагонов и паровозов, голодовки, бесконечные стоянки на маленьких станциях, сыпной тиф, „сумасшедший водоворот выбитых из колеи нервных озлобленных людей, раздражение и недовольство союзниками“—вместо победоносного вступления в Москву,

В Константинополе беженская масса скоро почувствовала тепло и внимательное отношение к себе—„стойко и честно борющейся с варварами-большевиками“.

„Для того, чтобы достать пропуска на выезд из Константинополя, нужно было пройти через теснины межсоюзнического пропускного бюро, которое скоро стали называть „межсоюзнической Ходынкой“. Оно помещалось в нескольких неуютных этажах грязного здания, с одним входом и узкой лестницей,—на окраине Галаты. Порядок наводили английские солдаты, конные и пешие,—осаживая публику от заветных дверей. Если публика слишком волновалась и напирала,—двери с шумом открывались, оттуда высакивали французские жандармы и сенегальцы и, крича: „Jusqu'en bas, Jusqu'en bas“ и, колотя стэками по головам, гнали вниз русских рыцарей союзнической ориентации“.

Перед отъездом (вынужденным) из России, ген. Деникин передал верховное командование и правительственную власть ген. Врангелю, засевшему в Крыму.

Подводя итоги всей деникинской эпопее, осмысливая, правда уже после эвакуации, причины, приведшие вооруженные силы Юга России к поражению—Г. Н. Раковский должен признать, что „антибольшевистское движение в своей основе носило определенно реакционный и, в значительной мере, реставрационный характер.

Первыми организаторами, вдохновителями и дальнейшими руководителями вооруженных сил, которые вели борьбу с армиями Советской России, были, несомненно, офицеры, главным образом кадровые, возглавляемые наиболее стойкими, энергичными и жизнеспособными генералами, игравшими руководящую роль и при царском Правитель-



стве. И представители старой России цепко облепили со всех сторон все, что представляло собой реальную силу, боровшуюся с большевиками. Стремясь к восстановлению своего status quo, они думали, что тем самым выводят народ из горнила тягчайших испытаний . . . Идейными вдохновителями борьбы нужно признать представителей нашей русской либеральной интеллигенции, к которой справа примыкали октябристы и крайние правые, а слева—социалисты-оборонцы Плехановского толка . . . Русского народа они (представители интеллигенции—А. С.) не знали, реальной плодотворной политики вести не могли, шли старыми проторенными дорожками, шли к верному поражению. Это поражение одинаково потерпели и консервативный „Совет Государственного Обединения“ и кадетский „Национальный Центр“ и право-социалистический „Союз Возрождения“.

Разницы между Кривошеиным, Савичем, Долгоруковым, Соколовым, Мякотинным и Пешехоновым в этом отношении не было никакой... (Г. Н. Раковский—„В стане белых“. Константинополь 1920 г.).

## VI.

Сухой, со скептической улыбкой рассказывающий о Колчаковском царстве—Гинс, упорный и неколеблющийся Набоков, витиеватоскучный Добровольский, пламенный воин-романист Краснов, бьющий головой о землю в поисках правды Станкевич—все они писали свои воспоминания после того, как вместе с ликвидацией того правительства, при котором они состояли, кончалась и их карьера и подвиги. Но те, которые борьбу продолжали или продолжают—те воспоминаний не пишут и карт своих не раскрывают.

Врангель со скоростью изумительной переправляющийся, правильнее—переправляемый, со своим воинством из одного государства в другое—в анналы истории еще не вложил своих воспоминаний, но мы надеемся, что к 1923 году многотомные воспоминания боярина Петра увидят свет.

И Украинская контр-революция, засевшая в маленьких городках и местечках Галиции и Польши, до настоящего времени продолжающая организовывать свои силы в надежде, что Украина призовет ее,—не дала нам до настоящего времени сколько-нибудь солидных воспоминаний, записок и т. п. о своей деятельности.

Нашлось всего пока только два историка дней украинской контр-революции, да и то один из них герцог Лейхтенбергский, а другой—атаман Искра.

Первый в своих „Воспоминаниях об Украине“ (Украина у него взята в кавычки) считает прежде всего своим долгом познакомить читателей, с кем они имеют дело: „чтобы читатели мои знали, кто я, чтобы не сочли они меня за русского медведя, ограниченного и ретроградного, чтобы они убедились в том, что я близко знаком с культурой различных европейских стран, что я имею право смотреть на себя, как на человека, доступного цивилизации и настолько беспартийного и объективного в вопросах политических и социальных, насколько только это человеку возможно, не теряя, однако, сознания своей национальности,—я должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе.“

О беспартийности, аполитичности и т.п. повторяется в воспоминаниях так много и часто, что мы, конечно, верим—даже герцогу. По своему происхождению—он интернационалист чистейшей воды: „Я родился в Риме от русских родителей, и после я не раз посещал этот город и вообще Италию. Воспитан я был дома швейцарцем-каль-



винистом, а образование я получил во Франции на французском языке, но родным языком моей семьи был русский, так же как и характер всей ее жизни. Мои детские и юные годы протекали то в Южной Германии, то во Франции.

Он, конечно, не ретроград. Помилуйте, он „глубоко убежден, что для России единственная мыслимая форма правления—это монархия,—если хотите, конституционная“. Разве может быть Республика в России, где так много этих ужасных „mougiks?!“.

„Только долг историка и патриота“ заставляет его обрисовать то, что он видел. Но напрасно стали бы мы искать истории в его воспоминаниях. Сюсюкая, кокетничая и грассируя (так и чувствуется, что их сиятельство не выговаривают буквы „р“) герцог Лейхтенбергский, даже Гучковым выгнанный за свою полную бездарность с военной службы, с серьезным видом рассказывает о том, как он бегал к одной даме М., „чтобы узнать, как она поживает“, о бедном графе Пьере Кочубее, „который, хотя и не скрывал, что он убежденный монархист, тем не менее был расстрелян большевиками“.

Не обижаться на Советы герцог не может,—еще бы, ведь „когда тайные организации офицеров—людей порядка—пробовали действовать,—они почти всегда были предаваемы или распускаемы революционными комитетами и солдатскими советами, за которыми стояло количество и грубая сила“.—Какая несправедливость!

Вырождающийся герцог иногда способен на великие откровения: „по мнению социалистов из войны 1914—1918 г.г. должна была родиться Лига Наций и торжество социалистических благ на земле“.

С одной стороны, надклассовый герцог считает, что это была „война во имя возвышенных идей, патриотизма, справедливости, славы, человечества и многого другого“, но немного ниже его убеждения меняются: „все это—ореол красивых фраз и гуманных теорий, которые повседневной действительностью опрокидываются то и дело:—финансисты, промышленники, авантюристы всякого сорта делают жизнь и свои делишки, которые называются „интересами экономическими, политическими и национальными“ народов“.

Мировоззрение герцога, как мы видим, хотя и не очень цельное, тем не менее довольно путанное.

Конституцию Советских Республик он знает очень хорошо: „члены Советов Рабочих Депутатов заранее намечаются тайными революционными комитетами, состоящими, главным образом, из преступных элементов и евреев; выскочив из ничтожества, они заставляют утверждать себя своими, так называемыми, избирателями“.

Когда германские войска вошли в Киев,—герцог Лейхтенбергский обратился с письмом к принцу Леопольду Баварскому (своему родственнику). Он предупреждал его, что „не следует вводить себя в заблуждение, что в действительности нет никакого украинского народа, что нужно действовать энергично и сурово, чтобы восстановить по деревням спокойствие и порядок“.—А порядка действительно не было: „у землевладельцев были отняты без всякого вознаграждения их земли, до смешного минимума были ограничены суммы, выдаваемые по текущим счетам из банков..., а низшие классы населения находили злорадное удовольствие видеть, как девушки и дамы из общества шлепали всю ночь по снегу во время ночных дежурств, организованных при домовых комитетах“.

Вопарение гетмана Скоропадского улучшило настроение обиженного герцога.



Ведь „гетман был потомок одного из гетманов малороссийских, крупный землевладелец Малороссии, гвардейский офицер и свитский генерал, человек чисто русской культуры“. После поражения германцев, гетман открыто заявлял, что „в независимой Украине он видел ядро, вокруг которого сгруппируются все творческие силы всех частей России, чтобы создать новую Россию, в которой Украина, в случае надобности, могла бы стать только автономной частью федерации“.

„К несчастью, именно это-то заявление (согласно глубокому прогнозу герцога Лейхтенбергского) и погубило его и Украину вместе с ним, а, может-быть, даже всю Россию,—возможно даже, что и все человечество, если только большевизм восторжествует повсюду и зажжет весь цивилизованный мир“....

Германские войска уходят, и уже „появились слухи, что две сербских и три греческих дивизии в Одессе, что румынские войска, заняв Бессарабию, идут на Жмеринку. Но, к несчастью, все это оказалось вздором“.

Таким же вздором оказались белые мечты о грядущем пришествии не то черных сенегальцев, не то папуасов.

У гетмана, кроме небольшого собственного эскорта, войск не было; главнокомандующим формирующихся добровольческих частей он назначил графа Келлера. „Это был прекрасный и храбрый генерал, очень любимый в военных и консервативных русских кругах, но очень близорукий политик. Его мысли были прямы, но узки и он не замедлил злоупотребить своими полномочиями в смысле определенно монархическом“. Через пять дней он был отставлен и командование передано князю Долгорукому.

По многим причинам, о которых герцог не желает говорить, мобилизация всех добровольческих сил не удалась и „главнокомандующий князь Долгорукий оказался стоящим во главе небольших офицерских отрядов, к которым присоединились студенты, гимназисты и другие молодые люди“...

„13-го декабря 1918-го года защитники Киева получили приказ отступать и соединиться у Педагогического музея, чтобы оттуда продолжать свое отступление на восток. У них в тылу оказались вооруженные банды рабочих-большевиков, которые утром захватили в казармах эскорт гетмана и которые теперь отрезывали им отступление (из Киева). Гетман, официально известив в прокламациях об отказе от власти, успел скрыться“.

В Педагогическом музее оказались собранными около двух тысяч русских офицеров. „Достойный“ выход из положения был найден: все офицеры были погружены и направлены... в Германию—бороться за единую, неделимую Россию против немецких агентов—большевиков. В одной из теплушек (сорок офицеров и один герцог) уехал в Германию истиннорусский человек—герцог Лейхтенбергский.

Свои воспоминания он кончил в очень минорных тонах: „настоящее России печально. Земельного дворянства—этих оазисов всякой культуры—нет,—нет ловких и опытных государственных чиновников, нет работников свободных профессий и ученых, т. к. они перебиты и вообще не нужны пролетариату“. Немецкий публицист H. Рорбах немного утешил его: „Россия теперь—это страна мужиков,—а кто захочет стать царем мужиков?“.

„Он прав“,—меланхолически замечает герцог,—доля такая не завидна“.



Доля, признаемся и мы, действительно, не завидная, тем более, что наши мужики настолько „несознательны“, что вряд ли сумели бы оценить все величие той жертвы, которую принес бы для блага народа один из числа сиятельных, возлагая на себя бармы Мономаха...

Таким же беспартийным (но не аполитичным), как герцог Лейхтенбергский, объявляет себя атаман Искра (И. А. Лохвицкий).

Недавний соратник и сподвижник Савинкова, один из числа наиболее крепких и неуловимых атаманов, после ликвидации банд переправившийся через Польшу в Германию,—он всю свою книгу посвящает обвинениям (в большинстве случаев документально обоснованным) против Савинкова,

Деятельность Искры началась еще в 1920 году, когда он с четырьмя бывшими атаманами и польским паспортом в кармане переправился на Украину, „войдя по требованию Всероссийского Союза Крестьян в соглашение с политическим отделом штаба ген. Врангеля“.

В его задачу входило „образовать боевое ядро, объединить бесчисленные повстанческие отряды, связаться с Петлюрой и, укрепив тыл, двинуться на Москву“.

Ф. И. Родичев—представитель Врангеля в Варшаве, к которому обратился за помощью атаман Искра, принял его очень холодно. „По всему было видно, что он принял меня за попрошайку из беженцев, и все боялся, как бы я у него не попросил взаймы. Он производил впечатление человека сильно одряхлевшего, неспособного даже, как следует, вникнуть в то, что ему говорилось“.

Первые попытки Искры завязать сношения с Савинковым также были неудачны,—лицезреть Савинкова, „с большим комфортом устроившегося с многочисленным штабом в фешенебельной гостинице,—не удалось“.

Неудачливый бывший военный министр Временного Правительства, бывший демократ, бывший с.-р., бывший террорист спасал в это время Россию в тесном содружестве с Пилсудским. Когда Мережковский, Зинаида Гиппиус и Философов попытались взять в свои руки газету—„Варшавское Слово“ (в ней они обещали отстаивать границы 1772 года),—и им это не удалось,—Савинков пришел им на помощь: „была основана газета „Свобода“, получавшая прямые и косвенные субсидии от польского правительства и из других источников“.

Политический курс Савинкова становился (даже для атамана Искры) все менее двусмысленным, „принимая все более характер откровенного сервилизма и авантюризма“.

„Что будет с нами, Борис Викторович,—спросили раз у Савинкова:—ведь ваша политика обречена на заведомый крах?“

„Я—Пилсудчик—гордо ответил Савинкова,—что будет с Пилсудским, то и со мной“.

„Когда зашла речь об организации народного университета для интернированных, Савинков сказал:—Народный университет? Для кого? Для этой сволочи? Оставьте! Дайте нам деньги,—мы найдем им лучшее применение“.

После краха польского наступления,—Савинков—эта дешевая проститутка от политики, переметнулся в новый лагерь, к новому мужчине—ген. Врангелю.

„Мы верим—писал он Врангелю,—я верю, и явившиеся ко мне казаки тоже верят, как и я, что вы, генерал, уврачуете гнилые язвы на теле России,... что Ваша армия даст России и землю, и волю,



и мир.... Да укрепится эта наша горячая вера“,—(стиль не хуже царского, но и не лучше).

Итак, дать России—землю, волю и мир, призывался вместо Пилсудского, уже ген. Врангель....

Атаман Искра, сам довольно радикально разрешавший национальный вопрос в тех городках и местечках, которые занимались его отрядами,—путем, по возможности, поголовного вырезывания еврейского населения,—подробно рассказывает о большой работе, проделанной в этой области,—и Савинковым.

„Литература, доставлявшаяся польским штабом носила местами провокационный и антисемитский характер, но Савинкову и в голову не пришло осмелиться вступить в конфликт с польским штабом... Савинковским „Союзом защиты Родины и Свободы“ были изданы прокламации, в которых население призывалось к погромам под лозунгом: „бей жидов, спасай Россию“.

Речь свою на смотре Владимир-Волыньскому полку Савинков закончил словами: „Несмотря на наше отступление,—мы победим. Наши неудачи происходят не от слабости наших сил или трусости, а от измены некоторых частей, продавшихся жидам. Я теперь убедился, что жида являются нашими злыми гениями: большевики им милей. Когда пойдем вперед, то жида, пойманного в стане большевиков, не щадите. Помните, что, где лес рубят,—щепок не жалеют“....

И этот „дровосек“ считал возможным помещать в своей газете „Свобода“ письма, конечно, анонимные, каких-то легендарных крестьян, в которых излагаются просьбы этих крестьян, „чтобы господин хороший Савинков стал русским царем—батюшкой!“...

Вышвырнутый из Украины, недавний „вождь крестьянства“, чего-то не поделивший с Савинковым, превратился за границей в Савонароллу....

У нас почему-то есть достаточно оснований думать, что слова атамана Искры—„крестьянское движение обойдется без Савинкова“—могут быть с полным успехом отнесены и к нему самому: уж как-нибудь наши крестьяне обойдутся и без атамана Искры и ему подобных.....

## VII.

Пусть бывший „архилевейший анархист“ (как он сам себя называет), демократ, толстовец—вегетерианец, писатель из народа—Иван Наживин великушествует и, скрежеща зубами на Революцию, с грустью вспоминает то время, когда на каждой улице был городской, которого так „незаслуженно прозвали фараоном“. Пусть мерещится ему трехцветный национальный флаг, вместо которого теперь висят „красные тряпки“—„великий подлец это *средний* человек“—можно сказать о Наживине его же словами

Революция так сильно хлопнула по голове этого непротивленца и народника, что он быстро превратился в Освальда Шпенглера „для бедных“.

В своих пресных и скучных, как теплая кипяченая вода, „Записках о революции“ эта насквозь прогнившая, гнилая интеллигентская душонка вопит о всеобщей гибели: „Может быть, умирает даже вся Европа. Ведь не даром же, в самом деле, все чаще и чаще слышатся голоса о возможной гибели всей нашей цивилизации, со всеми ее богами, упованиями, храмами, библиотеками, форумами и проч. Человечество безумно ринулось в неизвестное, и никто не знает, остановится ли оно и вернется ли вспять или, несмотря ни на



что, понесется как безумное, в пропасть,—...но, в крайнем случае, если нам суждено оправиться и жить, то жить человеческой жизнью мы можем только под нашим старым трехцветным знаменем“.

Но Наживин не был бы самим собой, если бы, после окончательного краха своей белой мечты, он не лягнул бы союзников, неоправдавших его надежд.

С трусливой злобой загнанного зверя пишет он о них, „только и раз'езжающих на автомобилях, пьющих шампанское и ничего не понимающих в этой распре между „генералом Деникоф, генералиссимусом Петлюрой и советами“. Он „несколько не удивился, когда один из представителей союзников поднял на обеде бокал в честь двух великих вождей“: „general Denikoff et general Kharkoff“.

Не злиться на союзников Наживин не может: „ведь только из-за них большевикам были сданы в Одессе громадные запасы предметов военного снаряжения, хотя одесско-крымское бегство союзников было неожиданным и для Франции“.

„Я совсем собрался уже домой,—рассказывал Наживину адмирал Бубнов,—и мне надо было сделать прощальный визит фельд-маршалу Фошу и в беседе с ним я коснулся роли Франции в Южной России и, между прочим, самым осторожным способом спросил: надежны ли ваши войска там, фельдмаршал? Тот первое мгновение только отшатнулся от меня и долго, молча, смотрел на меня округлившимися глазами, а потом только выговорил: все, что я могу вам сказать, адмирал, это то, что Вы—сумасшедший!“

Адмирал оказался не сумасшедшим, а человеком, понявшим неизбежное...

Пусть новоявленный монархист Наживин утешает себя тем, что и Переверзев—министр юстиции Временного Правительства, делегированный туда одной из социалистических партий, так шатнулся вправо, что ему и абсолютизм в России уже не страшен,—оба они лучше друг друга...

Ведь еще так недавно—в дни войны 1914—1918 года—Наживин осмеливался, правда довольно робко, эзоповским языком, протестовать под флагом своеобразного вегетарианского пацифизма, против этой войны, против бессмысленной бойни, где народ, о котором он считал нужным печься, бессмысленно проливал свою и чужую кровь....

Но после Революции (особенно октябрьской) этот же самый „народ“ начинает презираться Наживиным. Для последнего самым страшным является то, что этот народ перестал быть таким послушным, каким он был раньше, что он осмеливается иметь свои мнения и убеждения, не совпадающие с мнениями и убеждениями Наживина, что этот народ ищет свою правду, не считаясь с советами и указами г.г. Наживиных.

Чем, как ни черною ненавистью и трусливым презрением, можем мы объяснить эти строки из „Записок о Революции“ Наживина?

.....Пестрая толпа с полной развязностью лезла туда, куда раньше вход был ей жизнью запрещен.... Величественный магазин Елисеева на Тверской. За сверкающими прилавками величавые, как какие-то жрецы, приказчики. Избранные посетители.... Вваливается двое „лохматых“, новые хозяева жизни.

— Ну-кась, отрежь-ка нам балыку....—развязно обращаются они к одному из жрецов.



— Вам какого?—презрительно, цедит тот сквозь зубы.

— Какого?—несколько опешили перед неожиданным затруднением покупателя, —отрежь....всякого“.....

Наживину страшно, что какие то „лохматые“ люди, в солдатских шинелях, осмеливаются заходить в магазины Елисеевых, без всякой почтительности разговаривать с жрецами-праказчиками (вероятно, когда на это осмеливался сам Наживин, он разговаривал со „священнослужителями“ с подхалимско-рабьей, подобострастной улыбочкой)....

Оплеывая самого себя и все то, чему он до сих пор верил, Наживин с радостью выискивает и вспоминает всякий маленький случай, хотя бы немного оправдывающий его, более чем крутой, поворот вправо, к самой злой черносотенной реакции.

— „Знаете, чем я теперь занимаюсь?—спросил раз меня симпатичный и талантливый публицист Н-ский, бывший, кажется, член Центрального Комитета социал-демократической партии.

— Ну?

— Перечитываю стенографические отчеты заседаний Государственной Думы, речи....Маркова П-го....

— Ну,—и что же?

— Умный был человек!.....

И Наживин рад этим словам, потому что под влиянием ненависти к революции, ко всему тому, что она принесла с собой, он даже пересматривает свое отношение к писателям, начинает возмущаться Гоголем, Салтыковым-Щедриным и Горьким, которые в изображении царской России слишком, по его мнению, сгустили черные краски.

Напуганный Революцией, очень быстро докатившийся до жидоинства и черносотенства à la Марков П—Наживин решил, что Европа нуждается в его правдивом рассказе о всем том, что творится в России.

Ведь он—„сын мужика, левый писатель в течение больше двадцати лет человек ничем своей общественной репутации не запятнавший, имеет право выступить за границей, как представитель русской демократии...

Демократия должна сказать свое веское слово, но вес этого слова должен определяться не степенью безграмотности, как это делалось до сих пор, не отсутствием носового платка и даже панталон запасных, а, может быть, как раз наоборот“.

И такими ничемными, жалкими и фальшивыми кажутся эти слова о демократах, обязательно имеющих носовые платки и лишнюю пару брюк, рядом со словами о том, что ему „очень хотелось напечатать, наконец, за границей все свои книги—их в продаже уже не было ни одной“....

На пароходе, который увозил Наживина из неопенившей его России,—он „стал подмечать признаки своей популярности: ему жмет руку сам граф Д. А. Олсуфьев, с ним знакомится графиня В. Н. Бобринская и о нем с уважением говорит финансист А. Я. Чемберс“.

Наконец-то демократ Наживин удостоился чести прикоснуться к ручке графини и разговаривать с самим графом—русский народ оценил, наконец, заслуги борца за свободу Ивана Наживина.....

„Мерзкие ругательства и рычание сквозь зубы,—„проклятые дикари“—французского солдата по адресу панически эвакуирующихся демократов, стэки гуляющие по головам единых и неделимых,



являются достойным воздаянием тем, кто понес великие жертвы в борьбе с большевиками, забывшими о святой и нетленной верности союзникам.....

Разгромом Врангеля, очищением территории Советской Республики от белых армий,—самой идее вооруженной борьбы с нами был нанесен сокрушительный удар. Если, после ликвидации нами того или другого фронта гражданской войны, того или другого белого правительства,—у сторонников белогвардейщины еще оставались надежды на дальнейшее продолжение борьбы, если белая эмиграция тешила себя надеждой на то, что оставшееся и продолжавшее борьбу белое правительство избегнет „ошибок“,—то после ликвидации нами Врангелевщины,—такой веры и надежды уже нет.

Стало необходимым искать новые пути, намечать новые вехи, а для некоторых, ввиду полной безнадежности дальнейшей борьбы,—искать примирения, хотя бы и вынужденного, с Советскою Властью.

Среди белой эмиграции неизбежно должно было появиться и появилось сменовеховское течение, и бело-эмигрантская литература дала нам в 1921 году—„Смену Вех“...

Александр Соловьев.